

Зигмунт Бауман

Глобализация

последствия для человека и общества



ВЕСЬ
МИР

Zygmunt Bauman

Globalization

The Human Consequences

Зигмунт Бауман

Глобализация

последствия для человека и общества

ВЕСЬ
МИР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 2004

УДК 316
ББК 60.56
Б 29

Перевод с английского *Коробочкина М.Л.*
Редактор *Яновская Е.В.*

Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Project»
при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия
и Института «Открытое общество» — Будапешт

Перевод осуществлен по изданию: *Zygmunt Bauman. Globalization: The Human Consequences*, впервые опубликованному в 1998 г. издательством «Polity Press»
совместно с «Blackwell Publishers Ltd.»

Бауман З.

Б 29 Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2004. — 188 с.

ISBN 5-7777-0303-8

Зигмунт Бауман — известный британский социолог, автор свыше 20 книг по наиболее злободневным вопросам общественного развития. Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена проблемам глобализации. Одни превозносят глобализацию, другие видят в ней источник всех бедствий. Книга, по замыслу автора, носит дискуссионный характер и «содержит гораздо больше вопросов, чем ответов». Свою задачу человека и ученого З. Бауман видит в том, чтобы привлечь к этим вопросам возможно широкую читательскую аудиторию и задуматься о влиянии глобализации на современное состояние нашей цивилизации.

УДК 316
ББК 60.56

Данная книга публикуется по соглашению
с Издательством **Blackwell Publishing Ltd., Oxford**. Перевод осуществлен
Издательством «Весь Мир» с оригинала книги на английский язык.

Ответственность за точность перевода полностью лежит
на Издательстве «Весь Мир». Издательство **Blackwell Publishing Ltd.**
не несет ответственности за перевод.

ISBN 5-7777-0303-8

© Zygmunt Bauman, 1998
© Перевод на русский язык.
Издательство «Весь Мир», 2004

Отпечатано в России

Содержание

Об авторе	7
Введение	9
 Глава 1. Время и социальные классы	16
«Помещик, живущий в столицах», вариант 2.	20
Свобода передвижения и самоопределение обществ	23
Новые скорости, новая поляризация	31
 Глава 2. Войны за пространство. Ход боевых действий	44
Картографическая война	47
От картографирования пространства к «опространствованию» карт	55
Агорафобия и возрождение локальности	68
Существует ли жизнь после «Паноптикона»?	72

Глава 3. Национальное государство — что дальше?	82
Мы универсализуемся или нас глобализуют?	86
Новая экспроприация: на сей раз — государства	94
Глобальная иерархия мобильности	100
Глава 4. Туристы и бродяги	112
Быть потребителем в обществе потребления	115
Мы движемся порознь	122
Одни колесят по свету, другие смотрят, как мир проплывает мимо	128
Вместе в радости и в горе	133
Глава 5. Глобальный закон, местный порядок	146
Фабрики неподвижности	149
Тюрьмы «постисправительной» эпохи	160
Безопасность: реальные средства, призрачная цель	166
«Нарушители порядка»	172
 <i>Избранная библиография работ</i>	
<i>Зигмунта Баумана</i>	181
<i>Именной указатель</i>	184

Об авторе

Зигмунт Бауман родился в 1925 г. в Познани (Польша) и был не только свидетелем, но и непосредственным участником многих важнейших событий XX века. Во время Второй мировой войны он участвовал в боевых действиях против фашистской Германии в составе Войска Польского, сформированного в СССР. После окончания войны З. Бауман вернулся в Польшу, где преподавал социологию в Варшавском университете. Поначалу убежденный сторонник строительства социализма в Польше, З. Бауман постепенно переходит на диссидентские позиции, все более сомневаясь в справедливости идеологических основ коммунистической теории. В 1968 г. З. Бауман эмигрировал из страны. До 1972 г. он преподавал в Тель-Авивском университете, затем связал свою судьбу с университетом Лидса в Великобритании, где и поныне после тридцати лет научной и преподавательской деятельности занимает пост почетного профессора. З. Бауман по единодушному мнению большинства западных исследователей — один из самых оригинальных британских социологов. Его перу принадлежит свыше 20 книг. Шестнадцать из них переведены с английского на другие языки и изданы в общей сложности в 36 странах мира. Статьи З. Баумана по наиболее злободневным вопросам общественного развития регулярно публикуются в наиболее авторитетных изданиях Европы и США. В 2001 г. профессору Бауману был посвящен очередной том выпускаемой издательством Blackwell серии «Blackwell Readers», целью которой

является «представление публике работ, имеющих фундаментальное значение для современной науки о человеке и обществе»*.

З. Бауман был удостоен многих престижных премий (Amalfi European Prize, 1990; Adorno Prize, 1998). Лекции З. Баумана, куда бы он не приезжал — в Великобританию или Польшу, Чехию или Австралию, — всегда актуальны и всегда вызывают большой интерес слушателей.

Основные темы исследований З. Баумана: негативные последствия крайней рационализации и бюрократизации общества в современную эпоху; исследование процессов глобализации с точки зрения социальной и моральной ответственности как человека, так и общества; критический анализ негативных аспектов общества потребления; изучение изменяющегося социального статуса представителей интеллектуальных профессий, особенно с точки зрения их взаимоотношений с властными структурами.

Проблемы глобализации З. Бауман затрагивает во многих своих работах. Глобализация, по его мнению, не столько формирует единый мир, сколько способствует усилению его фрагментарности и в конечном итоге представляет собой продукт «индивидуализированного» общества. Предлагаемая вниманию читателей книга целиком и полностью посвящена исследованию «феномена глобализации». По замыслу автора она носит дискуссионный характер и «содержит гораздо больше вопросов, чем ответов». Свою задачу человека и ученого З. Бауман видит в том, чтобы привлечь к этим вопросам возможно широкую читательскую аудиторию и задуматься о судьбах цивилизации, которая все больше и больше испытывает влияние процессов глобализации.

*Beilharz P. (Ed.) The Bauman Reader. Malden (Ma.), Oxford. Blackwell Publishers, 2001.

Введение

«Глобализация» сегодня у всех на устах; модное словечко, быстро превращающееся в лозунг, в заклинание, в некий ключ, способный открыть дверь к любым существующим и будущим загадкам. Для кого-то «глобализация» — это то, что нам необходимо для счастья, для других — причина всех несчастий. Однако для всех глобализация — это неизбежная фатальность нашего мира, необратимый процесс; кроме того, процесс, в равной степени и равным образом затрагивающий каждого человека. Нас всех «глобализуют» — а быть «глобализуемым» означает в общем одно и то же для всех, кто подвергается этому воздействию.

Все модные словечки, как правило, ждет одна и та же судьба: чем больше их претензии прояснить что-либо, тем менее ясным становятся их смысл. Чем больше они вытесняют ортодоксальные истины, тем быстрее сами превращаются в непререкаемые каноны. Попытки понять явление с помощью гипотез исчезают из поля зрения; речь идет о «состоявшихся событиях» и качестве «внешнего мира» — именно их новое понятие, казалось бы, «объясняет», именно на их основании оно претендует на иммунитет от неудобных вопросов. «Глобализация» не является исключением.

В этой книге делается попытка показать феномен глобализации как нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Исследуя социальные корни и социальные последствия процесса глобализации, автор старается отчасти развеять туман, окружающий это понятие, претендующее на исчерпывающее объяснение сегодняшнего состояния человечества.

В понятии «сжатие пространства/времени» заключена идея непрерывной многоплановой трансформации состояния человечества. Только после внимательного изучения социальных причин и результатов этого сжатия становится ясно, что последствия процессов глобализации далеко не столь однозначны, как это обычно представляется. Применение понятий пространства и времени носит резко дифференцированный характер и оказывает дифференцирующее воздействие. Глобализация разобщает не меньше, чем объединяет, она разобщает, объединяя, — расколы происходят по тем же самым причинам, что и усиление единообразия мира. Параллельно тому процессу планетарного масштаба, который возник в бизнесе, финансах, торговле и потоках информации, идет и процесс «локализации», закрепления пространства. В совокупности эти два тесно взаимосвязанных процесса приводят к резкой дифференциации условий существования населения целых стран, регионов и различных сегментов этого населения. То, что для одних представляется глобализацией, для других оборачивается локализацией; для одних — это предвестник новой свободы, для других — нежданный и жестокий удар судьбы. На первое место среди вожделенных ценностей выдвигается мобильность, то есть свобода передвижения, этот вечно дефицитный и неравномерно распределяемый товар быстро превращается в главный фактор расслоения нашей позднесовременной или постсовременной эпохи.

Все мы волей-неволей, осознанно или неосознанно находимся в движении. Мы движемся, даже если физически остаемся на месте: неподвижность просто невозможна в постоянно меняющемся мире. Следствием этого нового состояния является вопиющее неравенство. Некоторые из нас полностью превращаются в подлинных «глобалистов»; другие остаются привязанными к своей «местности» — такое положение и неприятно, и невыносимо в мире, где «глобалисты» задают тон и определяют правила игры в нашей жизни.

«Локальность» в глобализуемом мире — это знак социальной обездоленности и деградации. Неудобство «локализованного» существования усиливается тем, что в условиях, когда общественные пространства отодвинулись далеко за рамки «локальной» жизни, понятие «локальность» теряет свой смыслообразующий потенциал, все больше попадая в зависимость от направляющих и объясняющих действий, которые на локальном уровне не поддаются контролю, — вот вам и все коммунальные утешительные мечты интеллектуалов-глобалистов.

Неотъемлемой частью процессов глобализации является нарастающая пространственная сегрегация, отделение и отчуждение. Неотрайбалистские и фундаменталистские тенденции, отражающие и выражающие опыт людей, испытывающих на себе воздействие глобализации, — такие же «законнорожденные дети» последней, как и столь превозносимая «гибридизация» верхушечной культуры — культуры на глобализованной вершине социальной пирамиды. Особое беспокойство вызывает усиливающееся нарушение связи между все более глобализованными, экстритерриториальными элитами и остальным населением, «локализация» которого постоянно усиливается. Центры, где вырабатываются смыслы и формируются ценности,

сегодня экстерриториальны и свободны от местных ограничений — впрочем, это не относится к состоянию самого человека, которого эти идеи и ценности призваны наполнять содержанием.

Сегодняшняя поляризация, основанная на свободе передвижения, имеет множество аспектов; благодаря новому центру тяжести наводится блеск на устоявшиеся различия между богатыми и бедными, кочевниками и оседлыми, «нормальными» и «ненормальными» или нарушителями закона. Еще одна сложная проблема, которую автор пытается разрешить: каким именно образом эти различные аспекты поляризации переплетаются между собой и оказывают взаимное влияние.

В первой главе рассматривается связь между природой пространства и времени, меняющейся в ходе истории, с одной стороны, моделями и масштабами социальной организации общества — с другой. Основное внимание уделено воздействиям происходящих сегодня сжатия пространства/времени на структуризацию планетарных и территориальных обществ и групп. Одним из результатов этого воздействия стал новый вариант такого явления, как «помещик, живущий в столицах», — вновь обретенная независимость глобальных элит от территориально ограниченных субъектов политического и культурного влияния и, как следствие, утрата последними этого влияния. Последствия отдаления друг от друга двух «наборов декораций», в которых располагаются соответственно «верхи» и «низы» новой иерархии, прослеживаются вплоть до изменения организации пространства и значения понятия «соседства» в современном мегаполисе.

Темой второй главы являются этапы современных «войн» за право определять и навязывать смысл понятия «общее пространство». С этой точки зрения анализируют-

ся прошлые авантюры, связанные со всеобъемлющей городской планировкой, а также современные тенденции фрагментации дизайна и «эксклюзивного» строительства. Наконец, исследуется историческая судьба «Паноптикона», некогда излюбленной модели социального контроля нового времени, а особенно утрата актуальности и постепенное исчезновение этой концепции в наши дни.

Третья глава посвящена перспективам политического суверенитета, в особенности самоопределению и самоуправлению национальных и, в более общем плане, территориальных сообществ в условиях глобализации экономики, финансов и информации. В центре внимания находится растущее несоответствие масштабов между сферой институционализованного принятия решений тем миром, где производятся, распределяются, расходуются и размещаются ресурсы, необходимые для принятия и выполнения этих решений, в особенности парализующее воздействие глобализации на принятие решения правительствами отдельных государств, являющихся в новой и новейшей истории главными и до сих пор незаменимыми центрами эффективного социального управления.

В четвертой главе речь идет о культурных последствиях перечисленных преобразований. Считается, что их главный эффект состоит в раздвоении и поляризации человеческого опыта, когда общие культурные ценности поддаются двум совершенно различным толкованиям. Понятие «находиться в движении» имеет абсолютно различный, противоположный смысл для тех, кто находится соответственно на вершине и у основания новой иерархии, а большинство населения — «новый средний класс», переминающийся в нерешительности с ноги на ногу между этими двумя крайностями, — несет на себе всю тяжесть этого противостояния и страдает от острой экзистенциальной не-

определенности, беспокойства и страха. Автор утверждает, что сама необходимость развеять подобные страхи и нейтрализовать заложенный в них потенциал недовольства является, в свою очередь, мощным фактором дальнейшей поляризации между двумя смыслами понятия «мобильность».

В последней главе исследуются экстремальные проявления этой поляризации: распространенная ныне тенденция к приданию криминального смысла случаям, не соответствующим идеализированной норме, и роль, которую эта криминализация играет в компенсации дискомфорта «жизни в движении», чем придает еще более одиозные и отталкивающие черты имиджу и реальности альтернативного образа жизни, «жизни в неподвижности». Таким образом, сложный вопрос незащищенности человека, которая вызвана процессом глобализации, сводится к вполне прямолинейной проблеме «законности и порядка». Забота о «безопасности», чаще всего связанная с простым беспокойством о личной безопасности самого человека и его имущества, «перегружается», наполняясь озабоченностью, порожденной другими важнейшими аспектами существования в сегодняшнем мире — незащищенностью и неуверенностью.

Выводы книги — это не политическое заявление. По замыслу автора, она носит дискуссионный характер. В ней содержится гораздо больше вопросов, чем ответов, и среди них нет четкого предсказания будущих последствий сегодняшних тенденций. И все же, как выразился Корнелиус Касториадис, проблема нынешнего состояния нашей современной цивилизации заключается в том, что она перестала задавать себе вопросы. Отказ от некоторых вопросов несет в себе большую опасность, чем неспособность ответить на вопросы, уже стоящие на повестке дня, а неправильные заданные вопросы зачастую помогают

отвлечь внимание от действительно важных проблем. Цена молчания исчисляется в твердой валюте человеческих страданий. В конце концов вся разница между судьбой и предназначением, между дрейфом по течению и целенаправленным путешествием именно в том и состоит, чтобы задавать правильные вопросы. Ставить под вопрос, казалось бы, непререкаемые условия нашего образа жизни — это, пожалуй, самая необходимая услуга, которую мы можем оказать нашим братьям-людям и самим себе. *Главная цель этой книги* — задавать вопросы и побуждать к этому других, не претендуя на то, чтобы это были правильные вопросы и, что важнее всего, чтобы это были все те вопросы, которыми задаются люди.

Время и социальные классы

«Компания принадлежит не ее сотрудникам, поставщикам или местности, где она расположена, а тем, кто в нее инвестирует»¹. Так Альберт Дж. Данлэп, прославленный «рационализатор» современного производства (*dépenseur* — «рубщик», «разделяватель», «расчленитель» по смачному, но абсолютно точному определению социолога Дени Дюкло из Национального центра научных исследований*)² подытожил свое кредо в самодовольном описании собственной деятельности, опубликованном издательством «Таймс Букс» для просвещения и в назидаание всем, кто стремится к экономическому прогрессу.

Данлэп имел в виду, конечно, не просто «принадлежность» как еще одно название чисто юридического понятия «собственности» — эта точка зрения никем не оспаривается и еще меньше нуждается в акцентировании. Его идея выражена прежде всего в заключительной части фразы: ни сотрудники, ни поставщики, ни представители местного сообщества не имеют права влиять на решения,

* Национальный центр научных исследований — французская общегосударственная система правительственных (неуниверситетских) научных учреждений, занимающихся фундаментальными исследованиями. — *Примеч. ред.*

принимаемые «теми, кто инвестирует», а подлинные обладатели полномочий в принятии решений — это инвесторы, именно они имеют право с ходу отместить, объявить бесполезными и неверными любые замечания этих людей относительно того, как они управляют компанией.

Отметим, что формулировка Данлэпа — не декларация о намерениях, а заявление о фактическом положении вещей. Данлэп воспринимает как аксиому то, что истинность выраженного в ней принципа подтверждена всеми экономическими, политическими, социальными и иными реалиями нашего времени. Эта аксиома уже вошла в «семью» самоочевидных истин, которые помогают объяснить мир, но сами не нуждаются в объяснении, которые позволяют принять в качестве допущений то, что происходит в мире, но само по себе уже не рассматривается как принятые на веру допущения, тем более вздорные или сомнительные.

Были времена (можно было бы сказать «не столь давние», если бы не быстро сжимающееся пространство коллективного внимания, превращающее даже неделю в политике — теперь не просто в долгий, но чересчур долгий период в жизненном цикле человеческой памяти), когда заявление Данлэпа далеко не всем показалось бы очевидным, когда оно прозвучало бы как воинственный клич или донесение с поля боя. В первые годы войны на уничтожение, объявленной Маргарет Тэтчер против местного самоуправления, бизнесмены считали необходимым взбираться на трибуну ежегодных съездов партии тори и раз за разом вбивать в головы слушателей идею, которую, по их мнению, необходимо было вбивать в головы, ибо для непривычного уха она звучала дико и странно: идею о том, что корпорации с удовольствием готовы платить местные налоги на поддержку необходимого им дорож-

ного строительства или ремонта канализации, но они не видят причин, чтобы финансировать поддержку местных безработных, инвалидов и прочих «лишних людей», за судьбу которых они не желают нести никакой ответственности. Но это было в первые годы войны, которая каких-нибудь двадцать лет спустя, когда Данлэп излагал свое кредо, была уже практически выиграна, так что он мог с полным основанием ожидать, что все слушатели разделяют его убеждения.

Вряд ли есть смысл спорить, была ли эта война результатом тайных коварных замыслов, родившихся в кабинетах руководства крупных корпораций, снабженных табличками «не курить», и ничего не подозревающие миролюбивые лидеры промышленности были вынуждены начать военные действия под давлением изменений, вызванных действием необъяснимых сил технологического прогресса и глобальной конкуренции; была ли это заранее спланированная и объявленная, как положено, война с четко определенными целями или просто серия отдельных и зачастую непреднамеренных военных акций, каждая из которых обуславливалась собственными причинами. Какое бы из двух утверждений ни являлось истинным (в пользу каждого из них можно привести немало аргументов, хотя, возможно, нам только кажется, что они противоречат друг другу), последняя четверть XX столетия, весьма вероятно, войдет в историю под названием «Великой войны за независимость от пространства». В ходе этой войны происходило последовательное и неумолимое освобождение центров принятия решений (а также тех расчетов, на основе которых эти центры принимают свои решения) от территориальных ограничений, связанных с привязкой к определенной местности.

Давайте рассмотрим принцип Данлэпа. Сотрудники набираются из местного населения и, учитывая их отягощенность семейными обязанностями, собственностью на жилье и т. д., не могут с легкостью последовать за компанией, если она переместится в другое место. Поставщики должны доставлять товар, а значит, низкие транспортные расходы дают местным поставщикам преимущества, которые исчезают при смене компанией местоположения. Что же касается самой «местности» — она, естественно, останется там, где была, и не может менять своего местоположения в соответствии с новым адресом компании. Среди всех перечисленных кандидатов на право голоса в управлении компанией только «те, кто инвестирует» — акционеры — несколько не связаны пространством: они могут купить любые акции на любой бирже через посредство любого брокера, и при этом географическая близость или удаленность компании явно будет на последнем месте среди соображений, побуждающих их продавать или покупать акции.

В принципе, состав акционеров не определяется пространством. Это — единственный фактор, полностью свободный от пространственной предопределенности. Им, и только им, «принадлежит» компания, поэтому им решать, стоит ли компании переехать туда, где, как они предполагают, есть шанс на повышение дивидендов, предоставив всем остальным — а именно тем, кто привязан к данной местности, — решать задачу, зализывать раны, возмещать убытки и убирать мусор. Компания обладает свободой передвижения, но последствия этого передвижения будут ощущаться долго. Тот, кто обладает свободой «бежать» из данной местности, абсолютно свободен и от последствий своего бегства. Это — главные трофеи победителей в «войне за пространство».

«Помещик, живущий в столицах», вариант 2

После окончания войны за пространство самым мощным и вожделенным фактором расслоения в мире стала мобильность: это та субстанция, из которой ежедневно строятся и перестраиваются новые, все более глобальные социальные, политические, экономические и культурные иерархии. Для тех, кто стоит на вершине новой иерархии, свобода передвижения приносит куда больше преимуществ, чем те, что обозначены в формуле Данлэпа. В этой формуле отмечены, возвышены или унижены лишь те кандидаты, чей голос слышен, — те, кто способен высказать и, скорее всего, действительно выскажет свое недовольство и может воплотить свои жалобы в судебные иски. Но есть и другие, оборванные и брошенные контакты, также привязанные к данной местности, и о которых в формуле Данлэпа не упоминается, потому что о них вряд ли кто-либо услышит.

Мобильность, приобретенная «теми, кто инвестирует» — людьми, обладающими капиталом, деньгами, необходимыми для инвестиций — означает для них поистине беспрецедентное в своей радикальной безоговорочности отделение власти от обязательств: обязанностей в отношении собственных служащих, но также и в отношении молодых и слабых, еще не рожденных поколений, и самовоспроизводства условий жизни для всех — одним словом, свободу от обязанности участвовать в повседневной жизни и развитии сообщества. Возникает новая асимметрия между экстерриториальной природой власти и по-прежнему территориальной «жизнью в целом», которую власть, снявшаяся с якоря и способная перемещаться мгновенно и без предупреждения, может свобод-

но использовать, а затем оставить наедине с последствиями этого использования. Отказ от ответственности за последствия — самое желанное и ценное преимущество, которое новая мобильность дает лишенному местной привязки капиталу, находящемуся в «свободном плавании». Теперь в расчетах «эффективности» инвестиций можно уже не учитывать затраты на борьбу с последствиями.

Обретенная капиталом свобода несколько напоминает свободу «помещика, живущего в столицах» из прежних времен — такие люди были печально известны своим пренебрежением к нуждам населения, которое их кормило. Весь их интерес к земле, которой они владели, заключался в том, чтобы «снимать с нее сливки» в виде «излишков продукции». Здесь, несомненно, существует некоторое сходство — но это сравнение не в полной мере отражает степень свободы от забот и ответственности, которой обладает мобильный капитал конца двадцатого столетия: помещикам прошлого она и не снилась.

«Помещик, живущий в столицах» не мог поменять свое поместье на другое, а значит оставался — пусть и не слишком прочно — привязанным к местности, откуда он тянул все соки; это обстоятельство на практике ограничивало теоретически и юридически беспредельные возможности эксплуатации местности, иначе в будущем поток доходов мог обмелеть, а то и вовсе иссякнуть. Конечно, объективные ограничения в принципе были жестче, чем это осознавали сами помещики, а эти последние — жестче тех, что обычно соблюдались на практике. Это обстоятельство приводило к тому, что такого рода помещичье землевладение наносило непоправимый ущерб плодородию земли и развитию сельскохозяйственных навыков, а благосостояние «помещиков, живущих в столице» было весьма ненадежным,

ухудшаясь от поколения к поколению. И все же это были реальные ограничения, напоминавшие о себе тем безжалостней, чем хуже их себе представляли и соблюдали. А ограничение, по определению Альберто Мелуччи, «это заключение в рамки, предел, разделение; поэтому оно означает и признание существования другого, чуждого, неустранимого. Столкновение с «другим» — это опыт, подвергающий нас испытанию: оно порождает искушение устранить различия силой, но может вызвать к жизни и стремление к контакту как непрерывно возобновляемому действию»³.

В отличие от «помещиков, живущих в столицах» из новой истории, нынешние капиталисты и торговцы землей, благодаря вновь обретенной мобильности их ресурсов, теперь уже ликвидных, не сталкиваются с ограничениями достаточно реальными — прочными, твердыми, неподатливыми — чтобы их соблюдение было обязательным. Единственные ощутимые и обязательные рамки связаны с административными ограничениями свободы движения капиталов и денежных средств. Однако такие ограничения немногочисленны, в них существует множество лазеек, и даже этот «редкий частокол» подвергается сильному давлению с целью его расшатать или вовсе снести. После этого упоминаемые Мелуччи «столкновения с другим» станут крайне редким явлением. А если случится, что другая сторона навяжет такое столкновение, как только «другое» начнет играть мускулами и заявит о себе, капитал без особого труда «соберет вещички» и переместится в более гостеприимную среду, т. е. не оказывающую сопротивления, податливую и мягкую. Тогда вероятность как попыток «устранить различия силой», так и «стремления к контакту» будет еще меньше.

Ведь оба этих подхода требуют признания неустранимости другого, но для этого «другое» должно сначала

превратиться в неподатливое, негибкое, в буквальном смысле «вязкое» целое. Чтобы в ходе сопротивления такое целое действительно сформировалось, среда должна подвергаться упорным и эффективным атакам — но общим следствием новой мобильности является тот факт, что у капитала и финансов практически не возникает необходимости «гнуть то, что не гнется», ломать препятствия, преодолевать или ослаблять сопротивление; а если она и возникает, то от нее всегда можно отказаться в пользу более «мягкого» подхода. Если столкновение с «другим» требует дорогостоящего применения силы или утомительных переговоров, капитал всегда может переместиться в более «спокойное» место. Зачем вступать в столкновение, если его можно избежать?

Свобода передвижения и самоопределение обществ

Оглядываясь назад, в прошлое, задаешься вопросом, в какой степени геофизические факторы, природные или искусственные границы территориальных единиц, неповторимая идентичность каждого народа и культурной общности, а также различие между понятиями «внутри» и «снаружи» — все традиционные предметы географической науки — являлись в сущности лишь концептуальными производными или же материальными проявлениями «ограничений скорости», а в более общем плане, временных и стоимостных ограничений свободы передвижения.

Поль Верилио недавно высказал такое предположение: если заявление Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» и является весьма преждевременным, то сегодня можно все

с большей уверенностью говорить о «конце географии»⁴. Расстояния уже не имеют значения, а идею геофизической границы в реальном современном мире становится все труднее поддерживать. Внезапно становится ясным, что разделительные линии, существовавшие на континентах и земном шаре в целом, являлись лишь функцией расстояний, которым примитивные средства транспорта и трудности путешествий некогда придали характер непререкаемой реальности.

Действительно, понятие «расстояния» — это не объективная безличная физическая «данность», а социальный продукт; его протяженность зависит от скорости, с которой мы его преодолеваем (а в монетарной экономике — еще и от того, во сколько обходится такая скорость). Все другие социально обусловленные факторы определения, разделения и поддержания коллективных идентичностей — вроде государственных границ или культурных барьеров — в ретроспективе представляются лишь второстепенными следствиями этой скорости.

Отметим, что именно это, судя по всему, является причиной, по которой «реальность границ», как правило, была классово обусловленным явлением: в прошлом, как и сегодня, элита — богачи и власть предержащие — всегда отличалась большим космополитизмом, чем остальное население стран, где они проживали; во все времена они стремились к созданию собственной культуры, не признававшей границ, столь прочных для простолюдинов; у них было больше общего с элитами по ту сторону границы, чем с большинством населения по эту сторону. Вероятно, по этой же причине Билл Клинтон, представитель самой могущественной элиты современного мира, смог заявить, что впервые в истории перестали существовать различия между внутренней и внешней политикой.

Ведь сегодня жизнь элиты почти не связана с различиями между понятиями «здесь» и «там», «внутри» и «снаружи», «близко» и «далеко». Когда время контакта сжимается и сокращается до ничтожной величины длиной в секунду, пространство и пространственные указатели перестают играть роль, по крайней мере для тех, чьи действия осуществляются со скоростью передачи письма по электронной почте.

Противоположности «внутри—снаружи», «здесь—там», «близко—далеко» служили для фиксации степени приручения, одомашнивания и привычности различных фрагментов (как человеческих, так и неодушевленных) окружающего мира.

Близкими, достижимыми называют прежде всего явления обычные, знакомые и очевидные; это люди или вещи, с которыми встречаешься, сталкиваешься и взаимодействуешь ежедневно в ходе привычной, рутинной, повседневной деятельности. «Близко» — это пространство, внутри которого человек чувствует себя «как дома», пространство, где он редко, если вообще когда-либо, испытывает неуверенность, не знает, что говорить и делать. С другой стороны, «далеко» — это пространство, где человек оказывается от случая к случаю или не оказывается никогда, где происходят вещи, которые он не способен предвидеть или понять, и не знает, как ему реагировать на происходящее, пространство, содержащее такое, о чем он мало что знает, от которого он мало чего ждет и которое его не волнует. В «далеком» пространстве человек начинает нервничать, отправиться «далеко» — значит оказаться за пределами своих знаний, не на своем месте и не в своей стихии, ожидая неприятностей и опасаясь худшего.

Все эти характеристики придают противоположности «близко—далеко» еще один важнейший аспект: речь идет

о противоположности между ясностью и неясностью, уверенностью и колебаниями. Оказаться «далеко» — значит оказаться в беде, в этом случае от человека требуется ум, хитрость, изворотливость или смелость, ему необходимо узнать чужие правила, без которых не обойтись, и овладеть ими методом рискованных проб и зачастую дорогостоящих ошибок. Идея «близкого», наоборот, означает отсутствие проблем, здесь достаточно безболезненно усвоенных привычек, а раз это привычки, то они не ощущаются как бремя, следование им не требует усилий, и просто не возникает повода для беспокойства и колебаний. Корни понятия «местное сообщество» лежат как раз в этой противоположности между «здесь» и «там», «близко» и «далеко».

Для периода новой и новейшей истории характерно непрерывное совершенствование средств передвижения. Именно в сфере транспорта и путешествий происходили особенно радикальные и быстрые изменения; прогресс здесь, как уже давно отметил Шумпетер, был связан не с ростом количества почтовых дилижансов, а с разработкой и массовым производством совершенно новых средств передвижения — поездов, автомобилей и аэропланов. Именно доступность скоростных средств передвижения стала главным катализатором характерного для современной эпохи процесса разложения и подрыва всей совокупности социальных и культурных явлений местного происхождения; процесса, суть которого впервые отразил Тённис в своей знаменитой формуле современности как переход от *Gemeinschaft* к *Gesellschaft* — от сообщества к обществу.

Среди всех технических факторов мобильности особенно важную роль играла передача информации — средство сообщения, не связанное с перемещением физиче-

ских тел или лишь незначительно и в последнюю очередь связанное с ним. Неуклонно и последовательно разрабатывались технические средства, позволявшие перемещаться информации независимо от ее физических носителей, а также от объектов, о которых эта информация сообщала: освобождению означающего от привязки к означаемому. Отделение движения информации от перемещения ее носителей и объектов привело, в свою очередь, к дифференциации скорости их передвижения; передача информации набирала скорость темпами, недоступными для перемещения физических тел или изменения ситуаций, о которых эта информация сообщала. Затем появление компьютерной «всемирной паутины» положило конец — в том, что касается информации, — самому понятию «перемещения» (и «расстояния», которое необходимо преодолеть), сделав информацию, как в теории, так и на практике, моментально доступной по всему земному шару.

Совокупные результаты последнего события поистине огромны. Его влияние на взаимодействие между социальной ассоциацией и диссоциацией отмечалось многими и описывалось в мельчайших подробностях. Подобно тому, как человек осознает «сущность молотка», лишь когда тот сломается, сегодня мы яснее, чем когда-либо, видим роль, которую пространство, время и средства их обуздания играли в формировании, стабильности/гибкости и падении социокультурных совокупностей. Так называемые «тесно спаянные сообщества» прошлого, как мы теперь видим, возникли и существовали благодаря разрыву между почти мгновенной связью внутри небольшого сообщества (размеры которого определялись свойствами «средств передачи», тем самым ограничиваясь природными возможностями человеческого зрения, слу-

ха и способности к запоминанию) и громадным временем и расходами, необходимыми для передачи информации от одного сообщества к другому. С другой стороны, хрупкость и недолговечность сегодняшних сообществ связана прежде всего с сокращением или полным исчезновением этого разрыва: связь внутри сообщества не имеет никаких преимуществ над обменом информацией между сообществами — и то, и другое осуществляется мгновенно.

Вот как Майкл Бенедикт подытожил наше ретроспективное открытие и вновь обретенное понимание тесной связи между скоростью передвижения и социальной сплоченностью:

«Единство, возможное в рамках небольших сообществ благодаря почти мгновенной и почти бесплатной связи посредством устной речи, плакатов и листовок, в более широком масштабе не может сохраняться. Социальная сплоченность на любом уровне — это функция консенсуса, разделяемого знания, и без постоянного дополнения и взаимодействия; такая сплоченность зависит прежде всего от раннего и строгого приобщения к культуре и ее усвоения. Социальная гибкость, напротив, зависит от способности забывать и дешевизны связи»⁵.

Добавим, что союз «и» в последнем предложении просто не нужен: способность забывать и дешевизна (а также высокая скорость) связи — всего лишь два аспекта одного и того же условия, и вряд ли их следует разделять. Дешевая связь означает не только быстрое переполнение, подавление и вытеснение полученной информации, но и, в не меньшей степени, быстрое поступление новостей. Поскольку врожденные возможности человеческого восприятия остаются неизменными как минимум со времен палеолита, быстрая связь не питает и уравнивает,

а затопляет и подавляет память. Можно сказать, что самым важным из недавних событий стало ослабление различий между стоимостью передачи информации в местном и глобальном масштабе (куда бы вы ни посылали свое сообщение по интернету, вы платите как за «местный звонок», что одинаково важно как с культурной, так и с экономической точки зрения). Это, в свою очередь, означает, что поступившая информация, требующая внимания, ознакомления, и, пусть ненадолго, остающаяся в памяти, создана в самых различных и автономных друг от друга местах, а значит, вероятнее всего, несет в себе несовместимые и взаимоисключающие сообщения — чем резко отличается от сообщений, циркулирующих внутри сообществ, лишенных компьютерного «железа» и программного обеспечения и полагающихся лишь на естественные возможности человека, т. е. сообщений, чаще всего повторявших и усиливавших друг друга, способствовавших процессу (селективного) запоминания.

По выражению Тимоти У. Люка, «пространственность традиционных обществ собирается вокруг самых непосредственных возможностей тела обычного человека».

В традиционных образах, обозначающих действие, аллюзии зачастую передаются органическими метафорами: противостояние «лицом к лицу», сражение — «рукопашная». Правосудие — «око за око, зуб за зуб». Разговор — «сердечный». Солидарность — «плечом к плечу». Общность — «рука об руку». Дружба — «закадычная». И, наконец, перемены — «шаг за шагом».

Ситуация изменилась до неузнаваемости с появлением средств, позволивших распространить конфликты, солидарность, сражения, дискуссии или отправление правосудия до пределов, намного превышающих физические воз-

возможности человека. Пространство было «обработано/ сконцентрировано/организовано/нормировано» и прежде всего освобождено от физических ограничений тела самого человека. А значит, с этого момента «организация пространства» зависела от параметров техники, скорости ее работы и стоимости ее использования: «Пространство, построенное с помощью такой техники, носит совершенно иной характер: это сконструированное, а не Богом данное, искусственное, а не естественное пространство; информация в нем передается машинами, а не людьми, оно рационализировано, а не обобществлено, его масштаб — национальный, а не локальный»⁶.

Строящееся пространство нового времени должно было быть жестким, прочным, вечным и непререкаемым. Плоть его должны были стать бетон и сталь, кровеносными сосудами — паутина железных дорог и автострад. Авторы современных утопий не проводили различий между упорядочением общества и архитектуры, между социальными и территориальными единицами и разграничениями; для них — как и для их современников, отвечавших за общественное устройство — ключом к упорядоченному обществу было упорядочение пространства. Все общество должно было превратиться в иерархическую пирамиду постоянно увеличивающихся и все более всеобъемлющих «местностей», над которыми, на самой вершине, стоит общегосударственная власть, следящая за всеми, но сама при этом не подвергающаяся постоянному контролю.

С появлением глобальной информационной паутины над этим территориальным/урбанистическим/архитектурным, строящимся пространством нашего мира образовалось третье, *кибернетическое* пространство. Элементы этого пространства, по определению Поля Вирилио, «ли-

шены пространственных измерений, но вписаны в единственную темпоральность моментального распространения. С этого момента людей нельзя разделить физическими препятствиями или временными расстояниями. Опосредованное компьютерными терминалами и видеомониторами различие между *здесь* и *там* теряет всякий смысл»⁷.

Как и большинство утверждений, относящихся к состоянию «человека» как такового, это определение не совсем верно. «Соединение интерфейсами компьютерных терминалов» оказало самое разнообразное воздействие на положение разных категорий людей. И некоторых из них — кстати, весьма многих — по-прежнему можно «разделить физическими препятствиями и временными расстояниями», причем сегодня это разделение стало безжалостнее и оказывает более глубокое психологическое воздействие, чем когда-либо раньше.

Новые скорости, новая поляризация

Одним словом, *аннулирование пространственно-временных расстояний под влиянием техники не способствует единообразию условий жизни человека, а, напротив, ведет к их резкой поляризации*. Оно освобождает некоторых людей от территориальных ограничений и придает экстерриториальный характер некоторым формирующим общество идеям — одновременно лишая территорию, к которой по-прежнему привязаны другие люди, ее значения и способности наделять их особой идентичностью. Некоторым это предвещает беспрецедентное освобождение от физических препятствий и невиданную способность перемещаться и действовать «дис-

танционно». Для других это означает невозможность освоения и «одомашнивания» местности, «оторваться» от которой и перебраться в другое место у них почти нет шансов. Когда «расстояния уже не имеют значения», его теряют и местности, разделенные этими расстояниями. В результате некоторые приобретают свободу смыслов творчества, но для других бессмысленность превращается в место прописки. Кто-то может теперь покинуть местность — причем, любую — когда заблагорассудится. Остальные беспомощно наблюдают, как местность — их единственное место жительства — уходит из-под ног.

Информационные потоки теперь не зависят от носителей; для перестройки смыслов и отношений сегодня менее, чем когда-либо необходимы перемещение и перестановка тел в физическом пространстве. Для некоторых людей — мобильной элиты, элиты мобильности — это означает в буквальном смысле «дефизикализацию», обретение полной независимости. Элиты перемещаются в пространстве, и перемещаются быстрее, чем когда-либо, — но охват и плотность сплетаемой ими паутины власти не зависит от этих перемещений. Благодаря вновь обретенной «бестелесности» власти в ее главной, финансовой форме, властители приобретают подлинную экстерриториальность, даже если физически остаются «на месте». Их власть полностью и окончательно становится «не от мира сего» — не принадлежит к физическому миру, где они строят свои тщательно охраняемые дома и офисы, которые сами по себе экстерриториальны, защищены от вторжения нежеланных соседей, отрезаны от всего, что связано с понятием «местное сообщество», недоступны тем, кто, в отличие от носителей власти, к этому сообществу привязан.

Именно этот опыт новой элиты, связанный с «внеземным» характером власти — захватывающим дух и вну-

шающим страх сочетанием оторванности от земли и всемогущества, физического отсутствия и мощного потенциала по формированию действительности — фиксируется в обычных панегириках «новой свободе», воплощенной в «киберпространстве», особенно ярко обобщенных Маргарет Вертхейм в виде «анalogии между киберпространством и христианской концепцией рая»:

«Подобно тому, как первые христиане представляли себе рай в виде идеализированной земли за пределами хаоса и разложения материального мира — распада, тем более явного, что на их глазах рушилась империя — в наши дни, в эпоху социального и экологического распада, сегодняшние прозелиты киберпространства предлагают его в качестве идеала, стоящего «выше» и «вне» проблем материального мира. Если ранние христиане превозносили рай как место, где душа человека освобождается от слабостей и недостатков плоти, то сегодняшние сторонники киберпространства говорят, что именно там личность освобождается от ограничений, связанных с физическим существованием»⁸.

В киберпространстве тела не имеют значения — хотя само киберпространство имеет значение, причем решающее и бесповоротное, для существования тел. Вердикты, вынесенные в киберпространственном раю, не подлежат апелляции, и ничто на земле не способно поставить под сомнение их авторитетность. Властителям, обладающим достаточным могуществом, чтобы выносить вердикты, воплощенные в киберпространстве, не нужна ни физическая мощь, ни тяжелое «материальное» вооружение; более того, в отличие от Антея, им не нужна связь с их земной средой для утверждения, укрепления или проявления своего могущества. То, что им нужно — это изоляция от местности, лишенной теперь социального значения, переместившегося в киберпространство, и тем самым све-

денной просто к «физическому» участку земли. И еще им нужны *гарантии этой изоляции*: «никаких соседей» как неперемное условие, иммунитет от местного вмешательства, полная, неуязвимая изоляция, передаваемая понятием «безопасности» самих этих людей, их домов и «игровых площадок». Детерриторизация власти, таким образом, идет рука об руку с еще более жесткой структуризацией территории.

В исследовании с названием, говорящим само за себя — «Строительная паранойя» — Стивен Фласти отмечает гигантский взлет изобретательности и лихорадочный строительный бум в новой для мегаполисов сфере «запретных пространств», «предназначенных для перехвата, отпугивания или фильтрации будущих пользователей». С присущей ему уникальной способностью формулировать четкие, острые и многозначительные термины Фласти выделяет несколько разновидностей таких пространств, дополняющих друг друга и в совокупности составляющих современный городской эквивалент рвов и башен, некогда защищавших средневековые замки. Среди этих разновидностей есть «ускользающее пространство» — «пространство, которого невозможно достичь из-за извилистых и слишком длинных путей подхода к нему или их полного отсутствия»; «колющее пространство» — «пространство, где нельзя с комфортом расположиться, поскольку оно защищено такими деталями, как встроенные в стены водометы для отпугивания празднующихся или наклонные выступы, на которые нельзя присесть»; или «неуютное пространство» — «пространство, которое невозможно использовать незаметно, из-за активного наблюдения в виде регулярного патрулирования и/или применения дистанционных средств, соединенных кабелями с постами службы безопасности». Эти и

другие «запретные пространства» служат лишь одной цели — превращению социальной экстерриториальности новой, не связанной с местностью элиты, в материальную, физическую изоляцию от местного окружения. Кроме того, это последний штрих в процессе распада связанных с местностью форм коллективности и совместной, общинной жизни. Экстерриториальность элит обеспечивается самым что ни на есть материальным способом — их физической недоступностью для всех, кто не обладает входным пропуском.

Это дополняется и другим процессом: городские пространства, где жители из разных районов могут встречаться лицом к лицу, случайно сталкиваться, приставать друг к другу и состязаться, беседовать, ссориться, спорить или соглашаться, поднимая свои личные проблемы на уровень общественных вопросов и превращая общественные вопросы в личные заботы, — эти «лично/общественные» агоры Корнелиуса Касториадиса — быстро сокращаются в размерах и количестве. Те немногие из них, что сохранились, все больше превращаются в пространства для избранных, усиливая, а не восполняя ущерб, наносимый действием дезинтеграционных сил. Как отмечает Стивен Фласти,

«традиционные общественные пространства все больше вытесняются создаваемыми частными лицами (хотя зачастую на общественные средства) и находящимися в частном владении и управлении пространствами для массового посещения, т. е. пространствами, где осуществляется потребление... Доступ туда зависит от платежеспособности... Здесь правит эксклюзивность, обеспечивая высокий уровень контроля, чтобы нечто необычное, непредсказуемое или неэффективное не препятствовало упорядоченному ходу торговли»⁹.

Элиты сами *выбрали* изоляцию и платят за нее *охотно* и не скупясь. Остальное население *«отсекается»* насильно и *вынуждено* платить высокую культурную, психологическую и политическую цену за свою вновь приобретенную изоляцию. Те, кто не способны сделать обособленное существование предметом свободного выбора и оплатить стоимость его безопасности, оказываются жертвами современного эквивалента «огораживаний» периода позднего Средневековья и раннего нового времени; их просто оставляют «за забором», не спрашивая согласия, запрещают доступ в еще вчера доступные «общие» места, арестовывают, прогоняют и вгоняют в кратковременное, но острое шоковое состояние, когда те случайно забредают в запретную зону, не заметив предостерегающей надписи «частная собственность» или не поняв других, выраженных не в словесной форме, но от того не менее грозных, знаков и намеков, что вход туда запрещен.

Территория городов превращается в театр военных действий непрерывной «войны за пространство», порой взрываясь публичными проявлениями вроде городских бунтов, ритуальных стычек с полицией, периодических «вылазок» толп футбольных фанатов, но идущей ежедневно за фасадом публичной (рассчитанной на публику) официальной версии повседневного порядка в городе. Лишенные власти и игнорируемые жители «отгороженных» территорий, которые постоянно отодвигают назад и от которых неумолимо отхватывают кусок за куском, отвечают на это собственными актами агрессии; они пытаются устанавливать на границах своих превращаемых в гетто районов собственноручно изготовленные таблички «вход воспрещен». Следуя вечному обычаю *bricoleurs*, они используют для этой цели все, что попадется под

руку: «ритуалы, странную манеру одеваться, абсурдные высказывания, они нарушают правила, бьют бутылки, окна и головы, бросают риторический вызов закону»¹⁰. Независимо от эффективности, эти попытки сводятся на нет своим несанкционированным характером, что дает официальным властям удобный повод относить их к нарушениям закона и порядка, и не рассматривать в подлинном смысле: как попытки выразить свои территориальные притязания громко и зримо, просто следуя правилам игры в территориальность, которой все остальные отдаются с таким пылом.

«Крепости», возводимые элитой, и «самозащита через агрессию» со стороны тех, кто остался за их стенами, оказывают взаимоусиливающее воздействие, точно предсказанное Грегори Бейтсоном в его теории «схизмогенетических цепей». Согласно этой теоретической модели, вероятность появления расколов и их развития до степени необратимости увеличивается, если возникает положение, при котором

«поведение типа X, Y, Z — это стандартный ответ на X, Y, Z... Если, например, модели X, Y, Z включают в себя хвастовство, то, как мы увидим, существует вероятность, что хвастовство является ответом на хвастовство, тогда каждая группа втянет другую в чрезмерное следование модели, процесс, который, если его не остановить, может привести лишь к все более и более экстремальному соперничеству, а в конечном итоге — к враждебности и крушению всей системы».

Вышеприведенное описание относится к модели «симметричной дифференциации». Какова же альтернатива? Что бывает, если группа В не ответит на вызов типа X, Y, Z со стороны группы А поведением типа X, Y, Z? Схизмогенетическая цепь от этого не разрывается — она просто принимает форму «дополняющей», а не симмет-

ричной дифференциации. Если, например, настойчивость встречает не аналогичную реакцию, а покорность, то «вероятно, эта покорность будет способствовать еще большей настойчивости, которая, в свою очередь, вызовет еще большую покорность». Результатом все равно будет «крушение системы»¹¹.

Конечный результат выбора той или иной модели будет минимальным, но для сторон, скованных одной схизмогенетической цепью, разница между моделями — это разница между достоинством и унижением, человечностью и ее утратой. Можно с полным основанием ожидать, что предпочтение всегда будет отдаваться стратегии симметричной дифференциации, а не ее «дополняющей» альтернативе. Последняя — это стратегия побежденных или тех, кто смирился с неизбежностью поражения. Некоторые результаты, однако, не изменятся, какую бы стратегию вы не избрали: усиление фрагментации городского пространства, сокращение и исчезновение общественного пространства, распад городского сообщества, разделение и сегрегация, а прежде всего — экстерриториальность новой элиты и территориальность, насильственно навязанная остальным.

Если вновь обретенная экстерриториальность элиты ощущается как пьянящая свобода, то для остальных их территориальность не столько дом родной, сколько (и чем дальше — тем больше) тюрьма. Это унижительное ощущение только усиливается от того, что другие на их глазах пользуются полной свободой передвижения. Дело не только в том, что навязанное условие «оставаться на месте», невозможность перемещаться, куда душе угодно и запрет на доступ к «тучным пастбищам» источают горький запах поражения, свидетельствуют о человеческой неполноценности и о мошенническом распределении

жизненных благ. Воздействие обездоленности гораздо глубже. «Местность» в новом мире высоких скоростей — это совсем не то, чем была местность в те времена, когда информация перемещалась только вместе с самими ее носителями; и сама местность, и местное население имеют мало общего с понятием «местное сообщество». Общественные пространства — агоры и форумы в их различных проявлениях, места, где определялся круг вопросов для обсуждения, где личные дела превращались в общественные, где формировались, проверялись и подтверждались точки зрения, где составлялись суждения и выносились вердикты — эти пространства вслед за элитой сорвались со своих местных якорей; они первыми «детерриторируются» и распространяются далеко за пределы возможностей «естественной» связи, которыми обладает любая местность и ее жители. Вместо того, чтобы служить очагом сообщества, местное население превращается в болтающийся пучок обрезанных веревок.

Пауль Лазарсфельд писал о «лидерах местного общественного мнения», которые просеивают, оценивают и обрабатывают для остальных жителей сообщения, поступающие «извне» через СМИ; но для этого местные лидеры должны были в первую очередь иметь возможность высказаться перед членами сообщества — им нужна была агора, позволявшая словам лидеров местного общественного мнения конкурировать со словами, доносящимися издалека, и приобрести убедительность, способную перевесить мнения куда более могущественных авторитетов, пусть даже и приглушенные расстоянием. Сомневаюсь, что Лазарсфельд пришел бы к тем же выводам, повтори он свое исследование сегодня, каких-нибудь полвека спустя.

Нильс Кристи недавно попытался в аллегорической форме сформулировать логику этого процесса и его по-

следствия¹². Поскольку его работа пока труднодоступна, я процитирую весь отрывок:

«Моисей спустился с гор. Под мышкой он нес заповеди, высеченные в граните, которые ему продиктовал некто с высот, превосходящих любые горные вершины. Моисей был всего лишь посыльным, люди — народ — адресатами... Позднее Иисус и Магомет действовали в соответствии с теми же принципами. Это классические примеры *«пирамидальной юстиции»*.

Но вот другая картина: женщины собираются у фонтана, колодца или у реки... Они набирают воду, стирают белье, обмениваются информацией и судачат. Отправной точкой для их беседы зачастую становятся конкретные действия и ситуации. Они *описываются, сравниваются* с аналогичными случаями, происходившими в прошлом или в других местах, и *оцениваются* — «правильно», «неправильно», «красавица» или «уродина», «сильный» или «слабый». Постепенно, и далеко не всегда, может выработаться некое общее понимание случившегося. Таков процесс, в ходе которого вырабатываются *нормы*. Это классический пример *«эгалитарной юстиции»*...

...Колодцев давно уже нет. Какое-то время в развитых странах существовали небольшие прачечные самообслуживания, куда ты приходил, загружал грязное белье в стиральную машину, опускал монетку и забирал белье выстиранное. Пока шла стирка, у людей было какое-то время, чтобы поговорить. Теперь таких прачечных не существует... В больших торговых комплексах у людей есть возможность встречаться, но в основном они слишком велики для «горизонтальной юстиции», для того, чтобы заметить старых знакомых; в этих гигантах слишком много людей и суеты, чтобы вести долгие беседы, необходимые для установления стандартов поведения...»

Позволю себе добавить, что торговые комплексы спроектированы таким образом, чтобы люди постоянно двигались, поглядывали направо и налево, их отвлекают и раз-

влекают беспрерывно — правда, делая паузы — различными аттракционами; главное, чтобы у них не возникло желания остановиться, посмотреть друг на друга, задуматься, поразмыслить и поспорить о чем-то ином, кроме выставленных товаров — их времяпровождение обязательно должно приносить коммерческую выгоду...

Ценность аллегории Кристи заключается и в том, что выдвигаются на первый план этические последствия ликвидации общественных пространств. Это были не только места встреч: там *создавались нормы*, вершилось и *горизонтально* распределялось «правосудие», и тем самым собеседники превращались в *сообщество*, отличное от других и сплоченное общими критериями оценки. Так что на территории, лишенной публичного пространства, существует мало возможностей для обсуждения норм, для столкновения ценностей и выработки компромиссов. Приговоры: «правильный» — «неправильный», «красивый» — «уродливый», «подобающий» — «неподобающий», «полезный» — «бесполезный» могут лишь «спускаться» с высот, из сфер, куда способен проникнуть лишь самый любознательный взгляд; эти приговоры не подвергаются сомнению, поскольку судьям нельзя адресовать никаких осмысленных вопросов, и поскольку судьи не оставили адреса — даже адреса электронной почты — и никто не может сказать с уверенностью, где они находятся. Здесь больше нет места «лидерам местного общественного мнения», как нет его и самому «местному общественному мнению».

Эти вердикты могут не иметь никакого отношения к образу жизни в данном месте, но они и не предназначены для проверки опытом людей, поведения которых они касаются. Порожденные опытом, известные местным адресатам сообщения разве что по слухам, они могут

усилить страдания, даже если призваны нести радость. Экстерриториальные оригиналы проникают в местную жизнь лишь в виде карикатур, возможно — в виде мутантов и монстров. В процессе проникновения они экспроприруют этические полномочия местных, лишая их всякой возможности ограничить разрушения.

П р и м е ч а н и я

¹ См.: Albert J. Dunlap (with Bob Andelman). *How I Saved Bad Companies and Made Good Companies Great*. New York: Time Books, 1996. P. 199—200.

² Denis Duclos. La cosmocratie, nouvelle classe planétaire // *Le monde diplomatique*. 1997. Août. P. 14.

³ Alberto Melucci. *The Playing Self: Person and Meaning in the Planetary Society*. Cambridge University Press, 1966. P. 129.

⁴ См.: Paul Verilio. Un monde surexposé: fin de l'histoire, ou fin de la géographie? // *Le monde diplomatique*. 1997. Août. P. 17. Насколько мне известно, впервые идею о «конце географии» выдвинул Ричард О'Брайен (см.: Richard O'Brien. *Global Financial Integration: The End of Geography*. London: Chatham House Pinter, 1992).

⁵ Michael Benedikt. On Cyberspace and Virtual Reality // *Man and Information Technology*. Выступления на международном симпозиуме, организованном в 1994 г. Комитетом по изучению человека, технологий и общества при Королевской шведской академии технических наук (Stockholm, 1995).

⁶ Timothy W. Luke. Identity, Meaning and Globalization: Detraditionalization in Postmodern Space-Time Compression // *Detraditionalization* / Ed. Paul Helas, Scott Lash and Paul Morris. Oxford, Blackwell, 1996. P. 123, 125.

⁷ Paul Virilio. *The Lost Dimension*. New York: Semiotext(e), 1991. P. 13.

⁸ Margaret Wertheim. The Pearly Gates of Cyberspace // *Architecture of Fear* / Ed. Nat Elin. New York: Princeton Architectural Press, 1997. P. 296.

⁹ См.: Steven Flusty. Building Paranoia // *Architecture of Fear* / Ed. Nan Elin. P. 48—9, 51—2.

¹⁰ См.: Dick Hebdige. *Hiding in the Light*. London: Routledge, 1988. P. 18.

¹¹ Gregory Bateson. *Steps to an Ecology of Mind*. Frogmore: Paladin, 1973. P. 41—42.

¹² Nils Christie. Civility and State (неопубликованная рукопись).

Войны за пространство. Ход боевых действий

Многие говорят, а еще чаще подразумевают, что идея «социального пространства» родилась (в головах социологов, конечно, — где же еще?) путем метафорической транспозиции концепций, сформировавшихся на опыте, связанном с физическим, «объективным» пространством. Однако истина состоит как раз в обратном. То расстояние, которое мы сегодня склонны называть «объективным» и измерять, сравнивая с протяженностью экватора, а не размером частей человеческого тела, физической ловкостью или симпатиями/антипатиями населяющих данную территорию людей, измерялось в критериях, связанных с человеческим телом и человеческими отношениями задолго до того, как металлический прут под названием «метр», это воплощение бестелесности и безличности, был выставлен в Севре в качестве универсального авторитета и руководства к действию.

Выдающийся специалист по социальной истории Витольд Кула скрупулезнее, чем любой другой ученый, показал, что человеческое тело, не только в утонченном смыс-

ле, заимствованном из философствований Протагора, но и в самом земном, буквальном смысле, абсолютно не связанном с философией, с незапамятных времен являлось «мерилом всего». На протяжении всей своей истории вплоть до сравнительно недавно наступившей эпохи нового времени люди измеряли мир своими телами — ладонями, горстями или локтями; созданными ими предметами — ведрами или мешками; масштабами своей деятельности — деля, к примеру, свои поля на «морги», т. е. участки, которые один человек способен вспахать, работая с рассвета до заката.

Однако ни одна горсть не похожа на другую, да и ведра бывают разного размера; «антропоморфные» и «праксеоморфные», единицы измерения всегда различались и носили случайный характер подобно человеческим телам и занятиям, к которым они были привязаны. В этом и состояла причина трудностей, возникавших всякий раз, когда власть имущие желали установить единообразные правила для большого числа подданных, требуя, чтобы те платили «одинаковые» налоги. Поэтому необходимо было найти способ, позволяющий обойти и нейтрализовать влияние разнообразия и случайности, — и он был найден с введением стандартных и обязательных единиц измерения расстояния, поверхностей или объемов и запретом всех иных вариантов, носящих местный, групповой или индивидуальный характер.

Однако проблемы возникали не только в вопросе об «объективном» измерении пространства. Прежде чем дело дойдет до самих измерений, надо составить четкое представление о том, что именно ты измеряешь. Если речь идет об измерении пространства (или хотя бы представлении о нем, как о чем-то, поддающемся измерению), то необходима идея «расстояния» — а эта идея по своему

происхождению паразитирует на различии между «близкими» или «далекими» предметами и людьми и на понимании того, что некоторые люди и предметы находятся к вам «ближе», чем другие. Вдохновляясь тезисом Дюркгейма/Мауса о социальной природе классификации, Эдмунд Лич выявил удивительный параллелизм между «народными» категориями пространства, классификацией родства и дифференцированным отношением к домашним, сельскохозяйственным и диким животным¹. Судя по всему, «карта» мира в народном восприятии разделяется на категории «дом», «ферма», «поле» и «далеко» по очень похожему, практически тому же, принципу, что и такие категории, как домашние животные, скот, дичь и «дикие звери», а также категории «брат/сестра», «кузен», «сосед» — с одной стороны, и незнакомец или «иностранец» — с другой.

Как предположил Клод Леви-Стросс, запрет инцеста, предусматривавший введение искусственных, концептуальных различий между индивидами, не различавшимися в физическом, телесном, «природном» смысле, был первым — учредительным — актом культуры, функция которой с тех самых пор состояла во внедрении в «природный» мир разграничений, различий и классификаций, отражавших дифференциацию практической деятельности человека и связанных с ней концепций, являвшихся атрибутами не «природы» как таковой, а человеческой деятельности и мысли. Задача, стоявшая перед государством нового времени, нуждавшемся в унификации пространства, находившегося теперь под его прямым управлением, не являлась в этом смысле исключением; она заключалась в отделении пространственных категорий и различий от видов человеческой деятельности, неподконтрольных государственным властям. В конечном итоге эта задача све-

лась к замене административной практикой государства всех остальных, местных и раздробленных методов, в качестве единственной и обязательной для всех основы любых измерений и разделения пространства.

Картографическая война

То, что одними воспринимается легко и кажется очевидным, другим может представляться темным и неясным. Там, где одни находят дорогу без всякого труда, другие могут потерять ориентацию и заблудиться. Пока единицы измерения оставались антропоморфными и в основе их лежали различные и нескоординированные между собой местные практические навыки, они служили сообществам людей в качестве щита, за которым те могли укрыться от любопытных глаз и враждебных намерений чужаков, особенно — от навязывания более могущественными чужаками своей воли.

До наступления нового времени при сборе налогов и вербовке солдат власти, не способные «расшифровать» реалии, абсолютно понятные их подданным, вынуждены были вести себя как чуждая, враждебная сила: прибегать к военным вторжениям и карательным экспедициям. Действительно, существовавшая практика сбора налогов мало отличалась от грабежа и мародерства, а методы вербовки солдат — от захвата пленных; вооруженные наемники баронов и принцев убеждали «аборигенов» расстаться со своей продукцией или сыновьями, используя в качестве аргументов меч и кнут, демонстрируя грубую силу, они «выбивали» из населения столько, сколько могли. Эрнст Гелнер назвал систему правления, существовавшую до начала нового времени, «государством-дантистом»: прави-

тели, писал он, специализировались на «извлечении» методом пытки.

Сбитые с толку необычайным разнообразием местных единиц измерения и методов подсчета, налоговые органы и их агенты предпочитали иметь дело с корпорациями, а не отдельными подданными, с деревенскими или приходскими старейшинами, а не отдельными фермерами или арендаторами; даже в случае с такими «индивидуальными» и «личными» налогами, как сборы за каждую печную трубу или окно, государственные власти предпочитали облагать общей квотой всю деревню, оставляя распределение налогового бремени на усмотрение самих ее жителей. Можно также предположить, что главной причиной перехода от выплаты налогов сельскохозяйственной продукцией к их взиманию звонкой монетой была независимость стоимости денег, определяемой государственным монетным двором, от местных обычаев. В отсутствие «объективных» единиц измерения земельных наделов, регистров земель и инвентаризации количества скота, косвенные налоги — взимавшиеся с видов деятельности, которые было трудно или невозможно скрыть в гуще взаимных контактов, абсолютно понятных местному жителю, но недоступных или неверно воспринимаемых теми, кто редко посещает данную местность (например, налогообложение торговли солью или табаком, дорожные или «мостовые» сборы, покупка должностей и титулов) — были в ту эпоху излюбленным методом получения доходов государством, имевшим, по удачному выражению Чарльза Линдблома, лишь один палец на руке — большой.

Неудивительно, что одной из главных задач в битве государства эпохи нового времени за верховный суверенитет его полномочий стало добиться «читаемости», прозрачности пространства. Чтобы обеспечить юридический

контроль и регулирование моделей социального взаимодействия и лояльности, государство должно было обеспечить контроль над прозрачностью среды, в которых различные участники этого взаимодействия обязаны были действовать. Целью модернизации социальных структур, осуществлявшейся властями в эпоху нового времени, было установление и закрепление контроля именно в этом понимании слова. Таким образом, решающим аспектом процесса модернизации стала долгая война во имя реорганизации пространства. В ходе одной из главных битв этой войны наградой победителю служило право контролировать картографическую службу.

Труднодостижимой целью войны за пространство в эпоху нового времени было подчинение социального пространства одной-единственной составленной государством карте, причем эти усилия сочетались и подкреплялись «дисквалификацией» всех остальных «конкурирующих» карт и интерпретаций пространства, а также ликвидацией или нейтрализацией всех картографических учреждений и проектов, кроме государственных, осуществляемых при поддержке государства или имеющих государственную лицензию. В результате этой войны за пространство его структура должна была стать абсолютно «читаемой» для государственной власти и ее агентов, обладая в то же время полным иммунитетом от семантической обработки со стороны пользователей или жертв — т. е. недоступной для любых интерпретационных инициатив «снизу», способных наполнить фрагменты пространства смыслами, неизвестными и непонятными сильным мира сего, а значит — придать этим фрагментам неуязвимость от контроля сверху.

Изобретение в XV в. перспективы в живописи, ставшее плодом совместных усилий Альберти и Бруннелески, ста-

ло решающим шагом и настоящим поворотным моментом на долгом пути к свойственной новому времени концепции пространства и методам ее претворения в жизнь. Идея перспективы лежала на полпути между образом пространства, прочно укорененным в коллективные и индивидуальные реалии, и его «выкорчевыванием» из этих реалий в эпоху нового времени. Она принимала как аксиому решающую роль человеческого восприятия в процессе организации пространства: отправной точкой любой перспективы был глаз наблюдателя; он определял размер и расстояние между предметами, попавшими в его поле зрения, и оставался единственной основой для размещения предметов и измерения пространства. Однако новизна состояла в том, что глаз наблюдателя теперь представлял собой «человеческий глаз как таковой», новенький, «безличный» глаз. Теперь не имело значения, кто такие эти наблюдатели; важно лишь было, чтобы они расположились в данной точке наблюдения. Теперь предполагалось — даже воспринималось как данность — что для *любого наблюдателя*, находящегося в данной точке, пространственные соотношения между предметами будут выглядеть совершенно одинаково.

С тех пор не качества самого наблюдателя, а полностью поддающееся количественному истолкованию местонахождение точки наблюдения, помещенное в абстрактное и пустое, свободное от человека пространство, социально/культурно индифферентное и обезличенное пространство, должно было определять пространственное расположение предметов. Таким образом, концепция перспективы достигла двойного успеха, привязав праксеоморфную природу пространства к потребностям единообразия, насаждаемого государством эпохи нового времени. Признавая субъективную относительность про-

странственных карт, она одновременно нейтрализовывала влияние этой относительности: обезличивала следствия субъективного происхождения восприятия почти столь же радикально, как и созданный Гуссерлем образ смысла — порождения «трансцендентальной» субъективности.

Тем самым центр притяжения в организации пространства сместился от вопроса «кто?» к вопросу «из какой точки пространства?» Однако стоило только поставить этот вопрос, и сразу же стало очевидно, что раз все люди не могут находиться в одном и том же месте и оценивать мир с одной и той же перспективы, то и не все взгляды будут иметь равную ценность. А значит, должна существовать некая «привилегированная» точка, дающая лучшее восприятие. Теперь было нетрудно заметить, что «лучшее» значит «объективное», а это, в свою очередь, означало «безличное» или «надличностное». Понятие «лучшее» стало настолько уникальным критерием, что смогло чудесным образом возвыситься над неотъемлемо присущей этому понятию относительностью и даже преодолеть ее.

Таким образом, существовавшее прежде хаотичное и ошеломляющее разнообразие карт следовало заменить не столько одним общепризнанным образом мира, сколько жесткой иерархией образов. Теоретически «объективное» означало «превосходящее», но его практическое превосходство оставалось идеальной ситуацией, которую властям нового времени еще предстояло достичь, — а будучи достигнутым, оно превратилось бы в один из главных ресурсов на службе у этих властей.

Территории, полностью обжитые, абсолютно знакомые и понятные жителям деревни или прихода в их повседневной деятельности, оставались непонятными,

чуждыми и угрожающими, недоступными и «неприрученными» для столичных властей; изменение этой ситуации на прямо противоположную было одним из главных аспектов и признаков «процесса модернизации».

«Удобочитаемость» и прозрачность пространства, объявленные в новое время отличительными признаками рационального порядка, не были сами по себе изобретением этой эпохи; в конце концов, всегда и везде они являлись необходимыми условиями человеческого общежития, обеспечивая тот минимум определенности и уверенности, без которого повседневная жизнь людей была бы просто невыносима. Единственным новшеством, привнесенным в Новое время, стало превращение удобочитаемости и прозрачности в цель, которую следует систематически добиваться, *задачу*, то есть нечто, что еще надо навязать непокорной реальности, а перед тем тщательно разработать с помощью специальных знаний. Модернизация, среди прочего, означала и превращение населенного мира в благоприятную среду для надобщинного, государственного администрирования; а необходимое условие выполнения этой задачи заключалось в том, чтобы сделать мир прозрачным и удобочитаемым для административных властей.

В своем фундаментальном исследовании о «бюрократическом феномене» Мишель Крозье показал, что между уровнем определенности/неопределенности и иерархией власти существует самая тесная связь. От Крозье мы узнаем, что в любой структурированной/организованной коллективной общности руководящие позиции занимают ячейки, способные сделать собственное положение «непрозрачным», а действия — недоступными для понимания посторонних, в то время как в их собственных глазах эти положения и действия сохраняют полную ясность, без

пробелов и возможных сюрпризов. Во всем мире современной бюрократии стратегия каждого существующего или формирующегося сектора неизменно состоит из последовательных попыток развязать себе руки и навязать строгие и обязательные правила поведения всем остальным составляющим данной структуры. Подобный сектор добивается наибольшего влияния, если ему удастся превратить собственное поведение в неизвестную, переменную величину в уравнениях, составляемых другими секторами для принятия решений, и одновременно добиться, чтобы поведение других секторов было константным, регулярным и предсказуемым. Другими словами, наибольшей властью пользуются те ячейки, что способны оставаться источником неопределенности для остальных ячеек. Манипуляция неопределенностью — суть и главная цель борьбы за власть и влияние внутри любого структурированного целого, прежде всего, в его самой радикальной форме — современной бюрократической организации, и особенно в современной государственной бюрократии.

Созданная Мишелем Фуко модель современной власти в виде «паноптикона» основана на весьма сходном предположении. Решающим фактором власти, которую надсмотрщики, прячущиеся в центральной башне Паноптикона, осуществляют над его жильцами, находящимися в крыльях звездообразного здания, является то, что последние полностью и постоянно находятся на виду, а первые — столь же абсолютно и постоянно невидимы. Жильцы никогда не могут быть уверены, наблюдают ли за ними в данный момент надсмотрщики, или их внимание переключилось на другое крыло, или они вообще спят, отдыхают или заняты другим делом. Поэтому жильцы вынуждены постоянно вести себя так, *как будто* находятся

под постоянным наблюдением. Надсмотрщики и жильцы (будь то заключенные, рабочие, солдаты, ученики, пациенты и т. д.) находятся в «одном и том же» пространстве, но в диаметрально противоположных условиях. Взгляд первой группы ничем не замутнен, тогда как вторая вынуждена действовать на неясной и непрозрачной территории.

Отметим, что «Паноптикон» был *искусственным пространством*, построенным целенаправленно, с учетом асимметричных возможностей для видения. Целью была сознательная манипуляция и преднамеренная перекройка прозрачности пространства как элемента социальных отношений, а в конечном итоге — как элемента властных отношений. Искусственность «сделанного на заказ» пространства — это роскошь, которую не могли себе позволить власти, стремящиеся к манипуляции пространством в общегосударственном масштабе. Вместо создания с нуля нового, функционально безупречного пространства, власти государств нового времени — чьи цели вполне соответствовали задачам «паноптикона» — вынуждены были довольствоваться «второсортным» решением. Таким образом, первой стратегической задачей «войн за пространство» в эпоху нового времени стало картографирование пространства в виде, удобочитаемом для государственной администрации, но противоречащем местной практике — так, чтобы оставить «местных» без хорошо знакомых средств ориентации, а значит, привести их в замешательство». От идеала «паноптикона», однако, никто не отказывался; его просто отодвинули на второй план в ожидании появления более мощных технологий. Когда задачи первого этапа были достигнуты, открылся путь к следующему, еще более амбициозному этапу процесса модернизации. На этом этапе целью было не просто *составление эле-*

гантных, унифицированных и унифицирующих карт территории государства, но физическая *перекройка пространства* в соответствии с образцом элегантности, пока достигнутым лишь на планах местности, созданных и хранящихся в картографической службе; не идеальная фиксация несовершенства существующей территории, а доведение местности до идеала, до того существовавшего лишь на чертежной доске.

Раньше карта отражала и фиксировала рельеф местности. Теперь пришла очередь местности стать отражением карты, подняться до уровня упорядоченной прозрачности, которого стремились достичь на картах. Теперь само пространство будет перекроено или выстроено с нуля наподобие карты и в соответствии с решениями картографов.

От картографирования пространства к «опространствованию» карт

В интуитивном восприятии вышеупомянутому идеалу более всего соответствует геометрически простая структура пространства, слепленная из унифицированных блоков одного и того же размера. Неудивительно, что в утопических представлениях об «идеальном городе», характерных для эпохи нового времени, неизменное и неослабное внимание авторов было приковано к урбанистическим и архитектурным правилам, построенным вокруг одних и тех же базовых принципов: во-первых, строгого, детального и всеобъемлющего предварительного *планирования* городского пространства — создания города «с нуля», на чистом или расчищенном месте, в соответствии с замыслом, разработанным еще до нача-

ла строительства; и во-вторых, регулярности, однородности, единообразия, воспроизводимости пространственных элементов, окружающих административные здания, помещенные в центре города, а еще лучше — на вершине холма, откуда все городское пространство можно охватить взглядом. Характерным примером концепции идеально структурированного городского пространства в эпоху нового времени могут служить следующие «фундаментальные и священные правила», сформулированные Морелли в его *Code de la Nature, ou le véritable esprit de ses lois de tout temps négligé ou méconnu* («Кодекс природы или подлинный дух ее законов, кои во все времена оставались в небрежении или вовсе были неизвестны»), опубликованном в 1755 г.:

«Вокруг большой площади *регулярных пропорций* (здесь и далее *курсив мой*. — З. Б.) будут возведены общественные склады для хранения всех необходимых запасов, соединенные с залом для публичных собраний — все это будет иметь единообразный и приятный вид.

По внешней стороне этого круга будут *регулярно* располагаться городские кварталы — все *одинакового* размера, *одинаковой* формы, разделенные *равными* по ширине улицами...

Все здания будут *одинаковы*...

Все кварталы будут спланированы так, чтобы в случае необходимости их можно было расширить, *не нарушая их регулярности*...»

Принципы единообразия и регулярности (а значит, и взаимозаменяемости) элементов городской застройки дополнялись, по мысли Морелли, а также других мечтателей и практиков городской планировки и управления эпохи нового времени, постулатом о функциональном подчинении всех архитектурных и демографических решений «потребностям города в целом» (как выразился сам

Морелли, «число и размер всех зданий будут диктоваться потребностями данного города»), и требованием о пространственном разделении частей города, связанных с разными функциями, или различных по «качеству» их жителей. Так что «каждое племя займет отдельный квартал, а каждая семья — отдельную квартиру». (Сами здания, однако, спешит отметить Морелли, будут одинаковыми для всех семей; это требование, как нам представляется, диктовалось стремлением нейтрализовать потенциально вредное воздействие своеобразия племенных традиций на общую прозрачность городского пространства). Жители, по той или иной причине не соответствующие стандартной норме («больные граждане», «граждане-инвалиды и слабоумные старики», и те, кто «заслуживают временной изоляции от остальных») будут помещены в зоны, расположенные «с внешней стороны от всех кругов, на определенном расстоянии». Наконец, жители, заслуживающие «*гражданской* смерти, то есть пожизненного исключения из общества», будут заперты в камерах-пещерах с «очень крепкими стенами и решетками», рядом с *биологически* мертвыми людьми, на территории «отгороженного стеной кладбища».

Подобия идеального города, вышедшие из-под пера утопистов, не напоминали ни один из реально существующих городов, где эти «проектировщики» жили и мечтали. Но, как чуть позже (с одобрительным кивком) отметил Карл Маркс, их волновало не то, как изобразить и объяснить мир, а то, как его изменить. Или, скорее, недовольные ограничениями, которые существующая реальность накладывает на воплощение идеальных планов, они мечтали заменить ее новой реальностью, свободной от злокачественных следов исторических случайностей, созданной с нуля и во имя порядка. набросок любого проекта будущего го-

рода *ex nihilo* предусматривал разрушение города уже существующего. В гуще настоящего — неряшливого, зловонного, запутанного и хаотичного, а потому достойного смертного приговора — утопическая мысль служила плацдармом будущего упорядоченного совершенства и совершенного порядка.

Фантазии, однако, редко бывают действительно «праздными», и еще реже — по-настоящему невинными. Чертежи «проектировщиков» были островками будущего не только в их собственном воспаленном воображении. Не было недостатка в армиях и полководцах, рвущихся использовать «плацдармы» утопистов для развертывания генерального наступления против сил хаоса и помочь будущему прорваться в настоящее и покорить его. В своем весьма проницательном исследовании об утопиях нового времени Бронислав Бачко говорит о «двойном движении: движении воображения утопистов, покоряющих городское пространство, и мечтаний планировщиков и архитекторов о социальной структуре, в рамках которой они могли материализоваться»². Мыслители и деятели были в равной степени помешаны на «центре», вокруг которого будет логически обустроено пространство, будущего города, в соответствии с условиями прозрачности, установленными безличным разумом. Бачко мастерски препарирует это помешательство во всех его взаимосвязанных аспектах, анализируя проект «города по имени Свобода», опубликованный 12 флореаля Пятого года Французской республики топографом-геометром Ф.Л. Обри, — по его замыслу он должен был служить наброском плана будущей столицы революционной Франции.

Как для теоретиков, так и для практиков будущий город был «пространством во плоти», символом и памятником свободы, завоеванной Разумом в долгой борьбе не на

жизнь, а насмерть против неуправляемой, иррациональной случайности исторического процесса. Подобно тому, как обещанная революцией свобода призвана была «очистить» историческое время, утописты мечтали о пространстве, «не оскверненном историей». В соответствии с этим жестким условием все существующие города выбывали из конкурса и обрекались на уничтожение.

Конечно, Бачко сосредоточивает внимание лишь на одном из многих «перекрестков», где встречались мечтатели и практики Французской революции; однако именно этот «перекресток» стал излюбленным местом для ищущих вдохновения путешественников со всех концов света, ведь именно там эта встреча была, как нигде, теплой и радостной для обеих сторон. Мечты об идеально прозрачном городском пространстве служили для политических вождей революции богатым источником вдохновения и придавали им смелости, а для мечтателей революция была в первую очередь решительно настроенной проектно-строительной конторой, готовой превратить формы, рождавшиеся долгими бессонными ночами на «чертежных досках» утопистов, в реальные стройплощадки идеальных городов.

Вот один из примеров, которые анализирует Бачко, — история об идеальной стране севарамбов и ее еще более идеальной столице Севаринд³:

«Севаринд — «красивейший город мира»; он отличается «хорошим состоянием законности и порядка». «Столица строилась в соответствии с рациональным, четким и простым планом, который выполнялся неукоснительно, что делает ее городом с самой регулярной застройкой в мире». Прозрачность городского пространства является в основном результатом решения аккуратно разделить его на 250 одинаковых единиц — осмазиев, каждый из которых представляет

собой квадратное здание с фасадом длиной в 50 футов, большим внутренним двором и четырьмя входами, которое рассчитано на «удобное проживание» тысячи человек. Город поражает всякого, кто его посещает, своей «идеальной гуляемостью». «Улицы там широкие и столь прямые, что возникает впечатление, будто они проложены по линейке»; все они выходят на «просторные площади, в центре которых расположены фонтаны и общественные здания», также одинакового размера и вида. «Архитектура всех домов почти одинакова», хотя жилища важных особ отличаются неподдельной роскошью. «В этих городах нет и следа хаотичности: всюду царит идеальный и поразительный порядок» (больные, умалишенные и преступники изгнаны за пределы города). Все здесь имеет свое предназначение, а потому красиво — ведь красота означает очевидность цели и простоту формы. Почти все элементы города взаимозаменяемы — как и сами города; любой, посетивший Севаринд, получает представление о всех городах Севарамба».

Мы не знаем, отмечает Бачко, изучали ли создатели идеальных городов проекты друг друга, но у читателей утопических произведений поневоле возникает ощущение, что их авторы «в течение целого столетия занимались только тем, что вновь и вновь изобретали один и тот же город». Это впечатление связано с тем, что все авторы утопий разделяли одни и те же ценности и что все они стремились к «некоему идеалу счастливой рациональности или, если хотите, рационального счастья» — связанному с жизнью в идеально упорядоченном пространстве, очищенном от любой произвольности — свободном от любой неожиданности, случайности, неоднозначности.

Все города, описанные в утопической литературе, — это, по удачному выражению Бачко, «литературные города»; не только в буквальном смысле, как продукт воображения литераторов, но и в ином, глубинном смысле:

о них можно было *рассказать* на бумаге во всех мельчайших деталях, ведь в них нет ничего неясного, не поддающегося четкому описанию. Во многом напоминая концепцию Юргена Хабермаса об объективной «законности» утверждений и норм, которая может иметь только всеобъемлющий характер, и потому требует «стирания пространства и времени»,⁴ образы идеального города предусматривали полное отрицание истории и необходимость стереть с лица земли все ее зримые следы.

Если реальную жизнь людей наблюдать из окна чиновничьего кабинета, постулат о подобной «дематериализации» времени и пространства, смешиваясь с идеей «рационального счастья», превращается в ясную, безусловную заповедь. Только из такого окна может показаться, что разнообразие фрагментов пространства, и в особенности открытость и неопределенность их предназначения, его подверженность множественным истолкованиям исключает возможность рациональных действий. С этой чиновничьей точки зрения трудно представить себе модель рациональности, отличную от твоей собственной, и модель счастья, не связанную с жизнью в мире, несущем на себе отпечаток этой рациональности. Ситуации, поддающиеся различным истолкованиям, ситуации, которые можно расшифровать, подбирая разные «ключи», представляются не просто препятствиями на вашем поле деятельности, но и изъяном, говорящем о «неясности как таковой»; не признаком множественности сосуществующих систем, но симптомом хаоса; не просто помехой при воплощении вашей собственной модели рационального действия, но положением вещей, не совместимым с «разумом вообще».

С точки зрения «администрирования» пространства, модернизация означает монополию на картографиро-

вание. Но такую монополию невозможно сохранить в городе, построенном из слоев последовательных случайностей истории, в городе, сформировавшемся и все еще формирующемся за счет селективной ассимиляции разных традиций и столь же селективного поглощения культурных инноваций, причем правила обоих процессов отбора меняются, они редко выражены со всей очевидностью, редко учитываются мыслью в момент действия и подвергаются квазилогической кодификации лишь задним числом. Добиться монополии куда легче, когда карта «идет впереди» картографируемой территории: если город с момента создания и на протяжении всей своей истории является проекцией карты на местность; если, вместо отчаянных попыток втиснуть беспорядочное разнообразие городской реальности в безличную элегантность картографической сетки, карта превращается в рамки, куда заранее помещаются еще не возникшие городские реалии, чье значение и функции проистекают только из места, отведенного им на этой разметке. Только тогда значения и функции приобретают подлинную однозначность; их *Eindeutigkeit* будет заранее обеспечена нейтрализацией или изгнанием альтернативных авторитетных толкований.

О таких условиях, идеальных для картографической монополии, мечтали лишь самые радикальные модернисты-архитекторы и планировщики нашей эпохи, самым знаменитым из которых был Ле Корбюзье. Словно демонстрируя надпартийную природу модернизации пространства и отсутствие всякой связи между ее принципами и политическими идеологиями, Ле Корбюзье с одинаковым рвением и без малейших угрызений совести предлагал свои услуги коммунистическим правителям России и профашистскому режиму Виши во Франции.

Словно в доказательство изначальной беспочвенности модернистских амбиций, в обоих этих случаях он потерпел неудачу: неосознанный, но неумолимый прагматизм правителей подрезал крылья радикальному воображению.

В книге *La ville radieuse*⁵ («Лучезарный город»), опубликованной в 1933 г. и призванной сыграть роль евангелия градостроительного модернизма, Ле Корбюзье вынес смертный приговор существующим городам — гниющим отбросам неуправляемой, бездумной, неискушенной в градостроительстве и незадачливой истории. Он обвинил существующие города в отсутствии функциональности (некоторые логически незаменимые функции лишены удовлетворительных механизмов, а некоторые другие — дублируются и сталкиваются между собой, приводя в замешательство жителей), в нездоровых условиях жизни и в оскорблении эстетического чувства (вызванного хаотическим лабиринтом улиц и смесью архитектурных стилей). Недостатки существующих городов чересчур многочисленны, так что исправление их по отдельности, одного за другим, не стоит затрачиваемых усилий и ресурсов. Куда разумнее применить комплексный подход и избавиться от всех напастей одним махом — разрушить старые города до основания, расчистив место для постройки новых, по заранее разработанному детальному плану; или бросить сегодняшние Парижи на произвол судьбы, переселив их жителей на новые места, где все с самого начала правильно спланировано и предусмотрено. Излагая принципы, которыми следует руководствоваться при строительстве будущих городов, автор «Лучезарного города» останавливается на конкретных примерах: планировке Парижа (его существующая застройка ниже всякой критики, несмотря на хвастовство ба-

рона Османа), Буэнос-Айреса и Рио-де-Жанейро; все три проекта начинаются с нулевой отметки и подчинены исключительно правилам эстетической гармонии и безличной логике разграничения функций.

Во всех трех воображаемых столицах приоритет отдается функциям, а не пространству; логика и эстетика требуют от каждого фрагмента городской застройки функциональной однозначности. В городском пространстве, как и в человеческой жизни, необходимо различать и разделять рабочие, домашние, потребительские, развлекательные, культовые, административные функции; каждой из этих функций следует отвести свое место, а каждое место должно служить одной, и только одной функции.

По мнению Ле Корбюзье, архитектура — подобно логике и красоте — по определению враг любому беспорядку, стихийности, хаосу, неряшливости; архитектура — наука сродни геометрии, искусство платонической возвышенности, математической упорядоченности, гармонии; ее идеалы — это непрерывная линия, параллели, правильные углы; ее стратегические принципы — стандартизация и сборка из готовых деталей. Власть архитектуры, осознающей свое призвание, в будущем Лучезарном городе означала бы *смерть улицы* в нашем понимании — этого неорганизованного и случайного побочного продукта нескоординированной и асинхронной истории застройки, места, где правит стихийность и двусмысленность. В Лучезарном городе дороги, как и здания, должны служить конкретным задачам; в данном случае — транспортным, перемещению людей и товаров с одной функциональной площадки на другую, и эту единственную функцию следует избавить от всех нынешних помех, создаваемых прогуливающимися фланерами, празднующими и просто случайными прохожими.

Ле Корбюзье мечтал о городе, где власть «Плана-диктатора» (он неизменно писал слово «План» с большой буквы) над жителями была бы полной и непререкаемой. Авторитет Плана, заимствованного и укорененного в объективных истинах логики и эстетики, не терпит возражений и несогласия; он не принимает никаких аргументов, не признающих строгих правил логики или эстетики, или не опирающихся на них. Поэтому градостроитель-планировщик должен по определению действовать, не обращая внимания на кипение предвыборных страстей и оставаясь глухим к жалобам своих подлинных или воображаемых жертв. «План» (будучи продуктом безликого разума, а не плодом индивидуального, пусть самого яркого и глубокого, воображения) — это единственное, одновременно необходимое и достаточное, условие счастья людей, которое не может основываться ни на чем, кроме идеального соответствия между научно определенными потребностями человека и однозначным, прозрачным и понятным устройством жилого пространства.

«Лучезарный город» существует только на бумаге. Но по крайней мере один архитектор-урбанист, Оскар Нимейер, получил шанс облечь учение Ле Корбюзье во плоть и кровь. Таким шансом стало поручение построить с нуля, в пустынной местности, не обремененной историей, новую столицу, соответствующую размерам, величию, огромным неосвоенным ресурсам и безграничным амбициям Бразилии. Эта столица, Бразилиа, стала просто раем для архитектора-модерниста: здесь наконец появилась возможность сбросить все путы и ограничения, как материальные, так и эмоциональные, и дать волю архитектурной фантазии.

Там, на доселе незаселенном плато в центральной Бразилии, можно было по собственной воле «формиро-

вать» жителей будущего города, заботясь лишь о верности логике и эстетике; и при этом не надо было идти на компромисс, а тем более жертвовать чистотой принципов ради не относящихся к делу, но неподатливых условий места и времени. Можно было точно и заранее вычислить еще не выраженные, существующие в зачаточной форме «потребности единиц»; беспрепятственно «собрать по частям» пока отсутствующих, а значит безмолвных и политически бессильных жителей будущего города в качестве совокупности научно установленных и тщательно выверенных потребностей в кислороде, единицах тепла и света.

Для экспериментаторов, больше заинтересованных в том, чтобы хорошо выполнить работу, чем в ее последствиях для тех, кто должен был стать объектом их действий, Бразилиа была огромной и щедро финансируемой лабораторией, где можно было в различных пропорциях смешивать ингредиенты логики и эстетики, наблюдать их реакции в чистом виде, и отбирать наиболее удачные из полученных соединений. Как позволяли предположить постулаты архитектурного модернизма в стиле Корбюзье, в Бразилиа можно было бы сконструировать пространство по мерке человека (или, точнее, всего того, что поддается измерению в человеке), то есть пространство, откуда случайность и неожиданность изгнаны окончательно и бесповоротно. Однако для своих жителей Бразилиа превратилась в кошмар. Ее незадачливые жертвы мгновенно вызвали к жизни понятие «бразилита» — нового патологического синдрома, прототипом и эпицентром которого по сей день остается Бразилиа. Самыми заметными симптомами бразилита, по общему мнению, является отсутствие толп и тесноты, пустые перекрестки, анонимность окрестностей и безликость че-

ловеческих фигур, цепящая монотонность среды, где ничто не способно удивить, озадачить или заинтересовать. Проектировщики Бразилиа устранили саму возможность случайных встреч везде, кроме нескольких мест, специально предназначенных для публичных собраний. Назначить встречу на единственном спроектированном для этого «форуме», гигантской «Площади трех сил», это, согласно популярной шутке, все равно, что договориться встретиться в пустыне Гоби.

Возможно, Бразилиа была пространством, идеально структурированным для проживания гомункулов, рожденных и выращенных в пробирках; для существ, слепленных из административных задач и юридических формулировок. Она несомненно являлась (по крайней мере, по замыслу создателей) пространством, идеально прозрачным для тех, кто выполняет административные задачи и озвучивает их содержание. Признаем, она была бы также безупречно структурированным пространством для идеальных, воображаемых жителей, отождествляющих счастье с беспроблемной жизнью, поскольку в ней отсутствуют неоднозначные ситуации, нет необходимости делать выбор, не существует риска и шанса на приключение. Для всех остальных город оказался пространством, лишенным подлинной человечности, — всего, что наполняет жизнь смыслом и ради чего стоит жить.

Мало кто из урбанистов, охваченных модернизаторской страстью, получал столь огромное поле деятельности, как то, что было отдано во власть воображения Нимейера. Большинству приходилось ограничивать полет своей фантазии (но не масштаб амбиций) небольшими экспериментами с городским пространством: выпрямить или разгородить в отдельных местах безалаберный и самодовольный хаос городской жизни, исправить ту или

другую ошибку и недосмотр истории, создать маленькую, тщательно охраняемую нишу порядка в существующей вселенной случайности — но непременно со столь же ограниченными, отнюдь не всеобъемлющими и в значительной мере непредсказуемыми последствиями.

Агорафобия и возрождение локальности

Ричард Сеннет первым из исследователей современной городской жизни поднял тревогу в связи с угрозой «краха человека общественного». Много лет назад он отметил медленный, но неумолимый процесс сокращения городского общественного пространства и тот факт, что горожане столь же неуклонно начинают избегать жалких подобий того, что раньше было «агора», после чего те, в свою очередь, приходят в запустение.

Позднее, в блестящем исследовании о «пользе беспорядка»⁶ тот же Ричард Сеннет ссылается на выводы Чарльза Абрамса, Джейн Джекобс, Марка Фрида и Герберта Ганса — исследователей, разных по своему темпераменту, но обладающих чуткостью в восприятии опыта городской жизни и глубокими аналитическими способностями, а затем сам рисует пугающую картину опустошения, вносимого в «жизнь реальных людей ради воплощения некоего абстрактного плана застройки или перестройки». Всякий раз реализация подобных планов, призванных «единообразить» городское пространство, придать ему «логику», «функциональность» или «удобочитаемость» оборачивалась распадом «страховочных сеток», сотканных из связей между людьми, физически опустошающим ощущением брошенности и одиночества — в сочетании с внутренней опустошенностью, ужасом перед жизненными трудностями и искусственно насаждае-

мой беспомощностью перед лицом самостоятельного и ответственного выбора.

Цена стремления к прозрачности оказалась ужасной. В искусственно созданной среде, разработанной так, чтобы обеспечить анонимность и функциональную специализацию пространства, горожане столкнулись с практически неразрешимой проблемой идентичности. Безликая монотонность и клиническая чистота искусственно сконструированного пространства лишала их возможности «обмениваться идеями», а тем самым и навыками, необходимыми, чтобы вплотную заняться и справиться с этой проблемой.

Урок, который проектировщики могли бы извлечь из длинной череды величественных замыслов и катастрофических неудач (а именно из их сочетания состоит вся история современной архитектуры) заключается в том, что главный секрет создания «хорошего города» — состоит в том, чтобы предоставить людям возможность отвечать за свои действия «в исторически сложившемся непредсказуемом обществе», а не в «выдуманном мире гармонии и predetermined порядка». Если у кого-то появляется желание поиграть в создание городского пространства, руководствуясь исключительно правилами эстетической гармонии и разума, то стоит сначала остановиться и подумать о том, что «человек не способен стать хорошим, если он просто следует хорошим приказам или хорошему плану кого-то другого».

К этому можно добавить, что, с точки зрения ответственности человека — этого главного и незаменимого условия нравственности взаимоотношений между людьми, идеально сконструированное пространство является скудной, а то и просто ядовитой почвой. Скорее всего она не сможет расти, не говоря уже о том, чтобы цвести

в гигиенически стерильном пространстве, свободном от неожиданностей, неоднозначности и конфликтов. Осознать свою ответственность способны лишь те, кто владеет сложным искусством действия в условиях неоднозначности и неясности, порожденных различиями и разнообразием. Нравственно зрелой личностью можно считать того, кто дорос до «потребности в неизвестном, кому жизнь кажется неполной без определенного элемента анархии», кто научился «ценить то, что все мы разные».

Анализируя ситуацию в небольших городках Америки, Сеннет обратил внимание на одну черту, повторяющуюся с почти неизменной регулярностью: подозрительность по отношению к другим, нетерпимость к отличиям, неприязнь к чужакам, требования, чтобы их «отделили» или вообще не допускали в город, а также истерическая, параноидальная озабоченность «законностью и порядком» — все это достигает высшей точки в наиболее стандартизированных, сегрегированных в расовом, этническом и классовом отношении, однородных местных сообществах.

Ничего удивительного: в подобных сообществах чувство общности чаще всего поддерживается иллюзией равенства, обеспечиваемой монотонной одинаковостью всех окружающих. Залогом гарантированной безопасности обычно считается отсутствие среди соседей тех, кто думает, действует и выглядит по-иному. Одинаковость порождает соответствие стандарту, а обратной стороной такого соответствия является нетерпимость. В однородном сообществе все труднее становится приобрести черты характера и навыки, необходимые при столкновении с различиями между людьми и неопределенными ситуациями; а при отсутствии таких навыков и качеств человек

очень легко поддается страху перед другими просто потому, что они, эти другие — возможно, странные и чуждые, но прежде всего — незнакомые: их нельзя моментально понять, «разложить по полочкам», предсказать их поведение.

Город, первоначально возникший ради безопасности — защиты тех, кто скрывается за его стенами от злонамеренных захватчиков, неизменно приходящих извне, — в наши времена, по выражению Нэн Элин, «больше ассоциируется с опасностью, чем с защищенностью». В нашу постсовременную эпоху «фактор страха несомненно вырос, на что указывают все чаще запираемые дверцы машин и двери домов, распространение систем безопасности, популярность идеи «огражденных» и «защищенных» сообществ для всех возрастных категорий и групп с различным уровнем доходов, возрастание контроля над общественными местами, не говоря уже о бесконечных сообщениях СМИ, нагнетающих чувство опасности».⁷

Сегодня страхи, типично «городские страхи», в отличие от тех, что привели когда-то к возникновению городов, сосредоточены вокруг «внутреннего врага». Подобный страх порождает озабоченность не столько целостностью и неприступностью *всего* города — как коллективной собственности и коллективной гарантии безопасности каждого — сколько изоляцией и укреплением собственного жилья *внутри* города. Стены, некогда окружавшие город, теперь крест-накрест избороздили саму его территорию во всех направлениях. Кварталы с системами наблюдения, тщательно контролируемые общественные места с ограниченным доступом, вооруженные до зубов охранники у ворот и двери с дистанционным управлением — все это сегодня направлено против «нежелательных» сограждан,

а не иностранных войск, разбойников, грабителей и других неизвестных опасностей, подстерегающих вас за городскими воротами.

В современном мегаполисе главной стратегией выживания стала не общность, а изоляция и отделение от других. Вопрос о том, нравится вам ваш сосед или нет, больше не стоит. Держитесь от соседей подальше, и вы не столкнетесь с этой дилеммой и с необходимостью выбора; вам просто не представится возможность выбирать между любовью и ненавистью.

Существует ли жизнь после «Паноптикона»?

Немногие аллегорические образы в общественной мысли обладают той же убедительностью, что и «Паноптикон» Мишеля Фуко. Фуко воспользовался неосуществленным проектом Иеремии Бентама с потрясающим результатом — получилась метафора трансформации, передислокации и перераспределения контрольных полномочий в период новой и новейшей истории. Бентам, куда лучше, чем большинство его современников, был способен за разнообразными ярлыками контрольных органов разглядеть их главную и общую задачу — насаждать дисциплину за счет постоянной, реальной и осязаемой угрозы наказания; а за множеством названий, которые носили способы осуществления власти, выявить ее основную, глубинную стратегию — заставить подданных поверить, что им ни на минуту не укрыться от всевидящего ока начальства, а значит, ни один проступок, даже совершенный втайне, не останется безнаказанным. В своем «идеальном воплощении» Паноптикон вообще исключал существование частного пространства, по крайней мере

непроницаемого частного пространства, не находящегося под наблюдением или, что еще хуже, не поддающегося наблюдению. В городе, описанном в романе Замятина «Мы», у каждого был собственный дом, но стены этих домов были стеклянными. В городе из оруэлловского романа «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» у каждого был собственный телевизор, но выключать его было запрещено, и никто не знал, в какой момент экран превращается в камеру наблюдения...

Методы паноптикона, как указывал Фуко, сыграли ключевую роль в переходе от местных механизмов интеграции путем самонаблюдения и саморегуляции, соответствующих природным возможностям человеческого зрения и слуха, к осуществляемой государством, преодолевающей местные рамки интеграции территорий, масштаб которых далеко превосходил природные возможности человека. Эта последняя функция требовала асимметричности наблюдения, участия профессиональных наблюдателей и такой реорганизации пространства, которая позволяла бы наблюдателям выполнять свою работу, а находящимся под наблюдением давала бы понять, что наблюдение ведется, или может начаться, в любой момент. Всем этим требованиям почти полностью удовлетворяли главные «дисциплинарные» институты «классического» Нового и Новейшего времени — прежде всего промышленные предприятия и массовые армии, комплектуемые на основе всеобщей воинской обязанности: с ними в своей жизни так или иначе сталкивался почти каждый.

Будучи почти идеальной метафорой для обозначения главных аспектов модернизации власти и контроля, образ Паноптикона, однако, слишком сильно связан с воображением социолога, тем самым мешая, а не способствуя

осознанию природы нынешних перемен. В ущерб анализу, мы подсознательно склонны рассматривать современные структуры власти как новое, исправленное и дополненное, издание прежних, по сути своей не изменившихся, методов паноптикона. Мы зачастую не замечаем того факта, что сегодня у большинства населения уже нет ни необходимости, ни возможности проходить через «тренировочные полигоны» прежних времен. Кроме того, мы забываем о конкретных проблемах процесса модернизации, придававших стратегии паноптикона целесообразность и привлекательность. Сегодня перед нами стоят иные проблемы, и при решении многих из них, возможно, самых главных, традиционные методы паноптикона, осуществляемые с неослабным рвением, скорее всего окажутся непригодными, а то и вовсе контрпродуктивными.

В своей блестящей работе, трактуя электронные базы данных как усовершенствованный киберпространственный вариант Паноптикона, Марк Постер выдвигает предположение, что «наши тела подключены к сетям, базам данных, информационным потокам» — а значит, все эти хранилища информации, к которым наши тела, так сказать, «привязаны информатически», «уже не являются убежищами от наблюдения или бастионами, вокруг которых можно выстроить линию сопротивления». Результатом сохранения огромного количества данных, прибавляющихся всякий раз, когда кто-то пользуется кредитной карточкой и делает практически любую покупку, по мнению Постера, является возникновение «суперпаноптикона» — но этот Паноптикон носит иной характер: наблюдаемые, предоставляющие данные для хранения, являются главным фактором в процессе наблюдения, и играют эту роль *добровольно*. Конечно, людей тревожит,

что такое количество относящейся к ним информации фиксируется и сохраняется; в 1991 г., по данным журнала «Тайм», 70–80% его читателей были «сильно обеспокоены» в основном тем, что информацию о них собирает правительство, кредитные и страховые кампании, а не работодатели, банки и маркетинговые фирмы. Учитывая все это, Постер выражает удивление, почему «обеспокоенность в связи с базами данных до сих пор не превратилась в важный политический вопрос общенационального масштаба»⁸.

Хотя вообще-то, чему здесь удивляться... При более тщательном рассмотрении кажущееся сходство между Паноптиконом Фуко и сегодняшними базами данных оказывается, в общем, довольно поверхностным. Главной задачей Паноптикона было прививать его обитателям дисциплину и заставить их вести себя по единому образцу; Паноптикон прежде всего был орудием, направленным против необычности и отличия от других, а также права выбора и любого разнообразия. При всех потенциальных способах использования баз данных подобная цель не ставится. Напротив, главными создателями и пользователями баз данных являются кредитные и маркетинговые компании, и их главная задача — с помощью вносимой туда информации подтвердить, что люди, о которых эти данные собираются, «заслуживают доверия»: они надежные клиенты и имеют возможность *выбора*, а те, кто этой возможности не имеют, отсеиваются заранее, чтобы избежать убытков и ненужной затраты ресурсов. Фактически, включение в базу данных — это первостепенное условие «кредитоспособности», а значит, и способ получить доступ ко всему самому лучшему. Жители Паноптикона были узниками — рабочими и/или солдатами, чье поведение должно было подчиняться рутине и монотонности, а в базу данных заносятся надежные

и заслуживающие доверия потребители — и отсеиваются все остальные, чья способность участвовать в потребительской игре вызывает сомнения просто потому, что их жизненные цели не относятся к категории информации, заслуживающей сохранения. Главной функцией Паноптикона было гарантировать, чтобы никто не *вырвался* из тщательно охраняемого пространства; главная же функция базы данных — в том, чтобы никто посторонний не *попал в нее*, не имея соответствующих «верительных грамот» или подделав их. Чем больше информации о вас содержится в базе данных, тем большей свободой передвижения вы обладаете.

База данных — инструмент отбора, разделения и отсева. Это сито, на дне которого остаются «глобалисты», а остальные просто смываются потоком. Некоторых она допускает в экстерриториальное киберпространство, позволяя им чувствовать себя как дома и быть желанными гостями везде, куда бы они ни прибыли; других — лишает заграничных паспортов и транзитных виз, не позволяя совать нос в те места, что зарезервированы для обитателей киберпространства. В отличие от Паноптикона, база данных — это средство передвижения, а не цепь, приковывающая человека к месту.

На судьбу Паноптикона в истории можно взглянуть и с другой точки зрения. Если воспользоваться примечательной фразой Томаса Матисена, установление власти по модели Паноптикона представляло собой прежде всего переход *от ситуации, когда большинство наблюдало за меньшинством к ситуации, когда меньшинство наблюдает за большинством*⁹. В процессе осуществления власти наблюдение заменило демонстрацию. До наступления эпохи нового времени, власть производила впечатление на народ, позволяя простолюдинам с почтением,

страхом и восхищением наблюдать ее во всей ее помпезности, богатстве, великолепии. Позднее же власть предпочитала оставаться в тени, наблюдая за подданными, но не позволяя им наблюдать за собой. Матисен упрекает Фуко и в том, что тот не обратил должного внимания на другой, параллельный процесс, проходивший в период новой и новейшей истории: выработку новых технологий власти, заключающихся как раз в наблюдении большинства (огромного, как никогда прежде в истории, большинства) за меньшинством. Он конечно имеет в виду неуклонное развитие средств массовой информации — в особенности телевидения — что ведет к созданию, наряду с Паноптиконом, другого механизма власти, который, все с той же афористичностью, он окрестил *Синоптиконом*.

Поразмыслим, однако, вот о чем. Паноптикон, даже когда он применялся повсеместно, а деятельность институтов, построенных на его принципах, охватывала подавляющее большинство населения, все же являлся механизмом местного масштаба: предпосылкой и результатом действий такого института было обездвиживание подвластных ему людей — наблюдение велось, чтобы не позволить им вырваться на свободу или по крайней мере исключить самостоятельное, случайное, беспорядочное движение. «Синоптикон» по определению имеет глобальный характер; в ходе наблюдения наблюдатели «отрываются» от своей местности — переносятся, хотя бы мысленно, в киберпространство, где расстояние уже не имеет значения, даже если физически они остаются на месте. Уже не важно, перемещаются ли объекты действия Синоптикона, превращенные теперь *из наблюдаемых в наблюдателей*, или нет. Где бы они ни были, и куда бы ни направились, у них есть возможность — и желание — подключиться

к экстерриториальной сети, позволяющей большинству наблюдать за меньшинством. Паноптикон *наси́льно* создавал ситуацию, когда за людьми можно было наблюдать. Синоптикону принуждать никого не нужно — он действует методом *соблазна*. При этом меньшинство, за которым наблюдают, проходит строгий отбор. Как пишет Матисен,

«мы знаем, кому разрешен доступ в СМИ, чтобы высказать свои взгляды. Как показал ряд исследований, проведенных в Норвегии и других странах, они неизменно принадлежат к *институциональным элитам*. Те, кто пользуется доступом, это практически одни мужчины — а не женщины — из высших социальных слоев, занимающие руководящие позиции в политической жизни, частном предпринимательстве и государственной бюрократии».

Столь превозносимая «интерактивность» новых СМИ чрезвычайно преувеличена; скорее можно говорить об «односторонне интерактивных СМИ». Вопреки мнению ученых, которые сами принадлежат к новой глобальной элите, интернет и «паутина» не общедоступны и вряд ли когда-нибудь откроются для всех. Даже тем, кто получает к ним доступ, дозволено делать выбор только в пределах, установленных поставщиками, приглашающими их «тратить время и деньги, делая выбор между многочисленными «пакетами», которые они предлагают, и в рамках этих пакетов». Что же до остальных, кто довольствуется спутниковым или кабельным телевидением, лишь изображающим симметрию между положением людей по обе стороны экрана, то на их долю выпадает простое наблюдение в чистом виде, без посторонних примесей. И за чем же они наблюдают?

Большинство наблюдает за меньшинством. Те немногие, что становятся объектом наблюдения, относятся

к категории знаменитостей. Они могут принадлежать к миру политики, спорта, науки или шоу-бизнеса, или просто быть знаменитыми специалистами — «информационниками». Однако все знаменитости, попадающие на экран, кто бы они ни были, занимаются демонстрацией мира знаменитостей — мира, чьей главной отличительной чертой является как раз то, что за ним наблюдает — множество людей во всех уголках света: они — «глобалисты» благодаря своей способности находиться под наблюдением. О чем бы они ни говорили с экрана, они выражают идею тотального образа жизни. *Их жизни, их образа жизни.* Если вы спросите о потенциальном воздействии этой идеи на наблюдателей, то это будет «напоминать не вопрос о предвзятых страхах и надеждах, а скорее о «воздействии», скажем христианства на мировоззрение человека, или — и такой вопрос китайцы *действительно* задавали — конфуцианства на общественную нравственность».¹⁰

В Паноптиконе одни местные наблюдали за другими местными (а до появления Паноптикона местные-простолюдины наблюдали за избранными). В Синоптиконе местные наблюдают за «глобалистами». Авторитет последних обеспечивается самой их удаленностью; о глобалистах можно сказать, что они «не от мира сего» в буквальном смысле слова, но их полеты над мирами местных куда более заметны, повседневны и навязчивы, чем полеты ангелов, парящих над христианским миром: они у всех на виду и в то же время недоступны, возвышенные и земные, они обладают гигантским превосходством, и в то же время являются для «низших» сверкающей путеводной звездой, за которой те следуют или мечтают последовать; они вызывают восхищение и вожделение одновременно — это власть, которая подает пример, а не приказывает.

Местные, сегрегированные и отделенные от глобалистов на земле, регулярно встречают их на телевизионных картинках рая. Эхо этих встреч разносится по всему земному шару, заглушая все местные звуки, но отражаясь от местных стен, демонстрируя и усиливая тем самым их неприступную, тюремную, прочность.

Примечания

¹ См.: Edmund Leach. *Anthropological aspects of language: animal categories and verbal abuse* // *New Directions in the Study of Language* / Ed. Eric H. Lenneberg. University of Chicago Press, 1964.

² Bronislaw Baczko. *Utopian Lights: The Evolution of the Idea of Social Progress*. Trans. Judith L. Greenberg. New York: Paragon House, 1989. P. 219—235.

³ *Histoire des Sévarambes* («История севарамбов») Д. Вераса, как утверждает Бачко, была столь популярной книгой в эпоху Просвещения, что Руссо и Лейбниц, к примеру, цитировали ее без ссылки на источник, очевидно считая, что читатели и так знают, откуда взята цитата.

⁴ См.: Юрген Хабермас. *Философский дискурс о модерне*. — М.: Издательство «Весь Мир», 2003. — 416 с.

⁵ Содержание *La ville radieuse* («Лучезарного города») с особой проницательностью и изобретательностью проанализировал Джим Скотт, политолог и социолог из Йельского университета; мои дальнейшие комментарии во многом основаны на его фундаментальных выводах.

⁶ Richard Sennett. *Uses of Disorder: Personal Identity and City Life*. London: Faber & Faber, 1996. В особенности см. P. 39—43, 101—109, 194—195.

⁷ Nan Elin. Shelter from the Storm, or Form Follows Fear and Vice Versa // *Architecture of Fear*/ed. Nan Elin. New York: Princeton Architectural Press, 1997. P. 13, 26. Толчком к созданию сборника статей *Architecture of Fear* («Архитектура страха») стал опыт самой Нэн Элин, приобретенный в ходе полевых исследований в тщательно спланированном «новом городе» Жуи-Ле-Мутье во Франции. К своему удивлению, Элин обнаружила, что «тема страха [l'insécurité] возникла, несмотря на крайне низкий уровень преступности в этом районе» (Р. 7).

⁸ Mark Poster. Database as discourse, or electronic interpellations // *Detraditionalization* / Ed. Paul Heelas, Scott Iash and Paul Morris. Oxford: Blackwell, 1996. P. 284, 291.

⁹ См.: Thomas Mathiesen. The viewer society: Michel Foucault's «Panopticon» revisited // *Theoretical Criminology*. 1997. P. 215—34.

¹⁰ George Gerbner and Larry Gross. Living with television: the violence profile // *Journal of Communication*. 1976. № 26. P. 173—198. Цитируется по вышеуказанной работе Матисена.

Национальное государство — что дальше?

«Во времена предыдущего поколения социальная политика основывалась на убеждении, что государства, а внутри государств — города, способны контролировать свои богатства; сегодня между государством и экономикой возникает водораздел», — замечает Ричард Сеннет¹.

При общем возрастании скорости движения — «сжатию» пространства/времени как такового — указывает Дэвид Харви — некоторые объекты движутся быстрее других. «Экономика» — капитал, то есть деньги и другие ресурсы, необходимые для того, чтобы «дело делалось», чтобы сделать еще больше денег и вещей — движется быстро; достаточно быстро, чтобы все время на шаг опережать любое (территориальное или иное) государственное образование, способное попытаться остановить его движение или направить по другому маршруту. В этом случае сокращение времени перемещения до нуля порождает новое качество: полную ликвидацию пространственных ограничений или, точнее, «полное преодоление гравитации». Все, что способно перемещаться со скоростью электронного сигнала,

практически освобождается от ограничений, связанных с территорией, послужившей отправной точкой, конечным пунктом или маршрутом движения.

В одном из недавних комментариев Мартин Вуллакот хорошо передал суть последствий этого освобождения:

«Шведско-швейцарский конгломерат «Браун Бовери» объявил о сокращении 57 000 человек, занятых на его предприятиях в Западной Европе и об одновременном создании новых рабочих мест в Азии. Вслед за ним «Электролюкс» выступил с заявлением о предстоящем сокращении персонала по всему миру на 11%, причем большинство сокращений коснутся Европы и Северной Америки. «Пилкингтон Гласс» также заявил о крупных сокращениях. Всего за десять дней три европейские фирмы сократили численность своих работников в масштабах, сопоставимых с количеством новых рабочих мест, которые планируют создать новые правительства Франции и Британии...

Вопиющим примером является Германия: там количество рабочих мест за пять лет уменьшилось на 1 млн и при этом немецкие фирмы активно занимаются строительством заводов в Восточной Европе, Азии и Латинской Америке. Если западноевропейская промышленность начала массированное перемещение за пределы Западной Европы, то все разговоры о поиске наилучшего подхода государства к проблемам безработицы можно рассматривать как неактуальные»².

«Сведение баланса» в масштабах народного хозяйства, ранее считавшегося основой всей экономической мысли, на практике все больше превращается в фикцию. Как указывает Винсент Кэйбл в памфлете, недавно выпущенном издательством «Демос»: «уже далеко не очевидно, что мы имеем в виду, называя «Мидленд Бэнк» или «ИКЛ» британскими фирмами (да, кстати, и корпорации вроде «Бритиш Петролеум», «Бритиш Эйруэйз», «Бритиш Гэс» или «Бритиш Телеком»)». В мире, где капитал не имеет постоянного

места пребывания, а финансовые потоки в основном неподконтрольны национальным правительствам, многие рычаги экономической политики перестают работать»³. Альберто Мелуччи выдвигает предположение, что последствием быстрого роста влияния наднациональных — «планетарных» — организаций становится «и ускоренный отсев «слабых» звеньев, и создание новых каналов для вложения ресурсов, выведенных, по крайней мере частично, из-под контроля отдельных государств»⁴.

По выражению Г.Х. фон Райта, «национальное государство разлагается или «отмирает». Подтачивающие его силы имеют *транснациональный характер*». Поскольку национальные государства остаются единственным ориентиром для «подведения баланса» и единственными источниками эффективных политических инициатив, «транснациональность» сил разложения выводит эти силы за рамки сферы сознательного, целенаправленного и потенциально разумного действия. Потому эти силы, их характер и действие окружены завесой тайны; они — объект предположений, а не надежного анализа. Как отмечает фон Райт,

«движущие силы транснационального характера в основном анонимны, а посему трудноуловимы. Они не формируют единую систему или порядок. Это агломерация систем, манипулируемых в основном «невидимыми» фигурами... между вышеупомянутыми силами [не существует] единства или целенаправленной координации действий... «Рынок» — не столько коммерческое взаимодействие конкурирующих сил, сколько толкотня манипулярного спроса, искусственно созданных потребностей и стремлений к быстрому обогащению»⁵.

Все это окружает идущий процесс «отмирания» национального государства аурой катастрофы. Его причины не совсем ясны; даже если бы эти причины и были известны, предсказать его ход невозможно; и уж точно, даже предска-

зав, его нельзя предотвратить. Ощущение беспокойства — вполне естественную реакцию на отсутствие рычагов контроля над ситуацией — четко выразил Кеннет Джоуитт, озаглавивший свою книгу «Новый мировой беспорядок». В эпоху новой и новейшей истории мы привыкли отождествлять порядок с «контролем над ситуацией». Именно этого ощущения «контроля над ситуацией», обоснованного или чисто иллюзорного, нам больше всего не хватает.

Сегодняшний «новый мировой беспорядок» нельзя объяснить лишь ссылкой на обстоятельство, служащее непосредственной и наиболее очевидной причиной ощущения потерянности и потрясения: а именно «похмельную» растерянность после внезапного окончания «великого раскола мира» и мгновенного исчезновения привычной рутины блоковой политики — даже если это исчезновение действительно было сигналом тревоги, возвещающем о «новом беспорядке». В образе мирового беспорядка отразилось скорее внезапное осознание (облегченное, но вовсе не обязательно вызванное, резким крушением блоковой политики) по сути стихийной и случайной природы вещей, которые ранее, казалось, находились под жестким контролем или хотя бы «технически поддавались контролю».

До краха коммунистического блока случайная, хаотичная и своенравная сущность международной обстановки просто заслонялась повседневным, поглощающим всю энергию и мысли воспроизводством баланса сил между мировыми державами. Разделяя мир, силовая политика создавала образ целостности. Наш общий мир скреплялся тем, что каждый уголок земли имел свое значение в «глобальном порядке» — то есть в конфликте «двух лагерей» и тщательно сохраняемом, хотя и неизменно хрупком, равновесии между ними. Мир был цело-

ственным постольку, поскольку ему нигде было укрыться от этого значения, а значит в нем не было места безразличию с точки зрения баланса между двумя силами, присвоившими себе немалую часть этого мира и наложившими глубокий отпечаток на существование остальных. Все в мире имело свое значение, и это значение исходило из одного, пусть расколотого, центра — двух гигантских международных блоков, намертво сцепившихся в борьбе, прикованных и приклеенных друг к другу. Без Великого раскола мир уже не выглядит целостным; скорее он похож на поле деятельности разрозненных и разнокалиберных сил, входящих в соприкосновение в самых неожиданных местах и набирающих инерцию, которую никто не знает, как остановить.

Одним словом, *сегодня, похоже, никто не контролирует ситуацию*. Хуже того — непонятно, что в сложившихся обстоятельствах значит «контролировать ситуацию». Как и раньше, все инициативы и действия по наведению порядка носят местный характер и ориентированы на конкретные вопросы; но уже не существует местного образования, имеющего наглость говорить от имени всего человечества или заставляющего все человечество слушать и подчиняться тому, что оно говорит. Нет сейчас ни одного конкретного вопроса, масштаб и значение которого охватывали и отражали бы все, что происходит в мире, и который к тому же не вызывал бы никаких разногласий.

Мы универсализуемся или нас глобализуют?

Именно это неуютное ощущение, что «все выходит из-под контроля» и выражено (без особой интеллектуальной четкости) в модной сегодня концепции *глобализации*.

Глубочайший смысл идеи глобализации — это неопределенный, неуправляемый и самостоятельный характер всего, что происходит в мире; отсутствие центра, пульта управления, совета директоров или головной конторы. Глобализация — просто другое название «нового мирового беспорядка» Джоуитта.

Эта черта, неотделимая от образа глобализации, полностью отличает его от другой идеи, которой она якобы пришла на смену, идеи «универсализации» — некогда служившей стержнем дискуссии об общемировых делах, но к сегодняшнему дню вышедшей из употребления, редко упоминаемой, а то и просто забытой всеми, кроме философов.

Подобно концепциям «цивилизации», «развития», «конвергенции», «консенсуса» и множеству других ключевых понятий, характерных для общественной мысли периода новой и новейшей истории, идея «универсализации» выражала надежду, намерение и решимость навести порядок; помимо того, о чем говорили другие родственные концепции, она означала *всеобщий* порядок — наведение порядка во всеобъемлющем, подлинно глобальном масштабе. Как и другие концепции, идея универсализации родилась на подъеме ресурсного потенциала государств и амбиций интеллекта нового времени. Весь этот «хор» концепций в унисон объявлял о решимости сделать мир не таким, каков он есть, а лучше, чем он есть, а также поднять перемены и усовершенствования до глобального, общевидового уровня. Тем самым они служили и декларацией о намерении создать для всех жителей Земли похожие жизненные условия и возможности, а может быть — даже уравнивать их.

Смысл глобализации в том виде, в каком он сформировался в рамках сегодняшнего дискурса, не содержит ничего

подобного. Новый термин связан прежде всего с глобальными *последствиями*, абсолютно непреднамеренными и непредусмотренными, а не с глобальными *инициативами* и *действиями*.

Да, он говорит, что наши действия могут иметь и зачастую имеют глобальные последствия; но нет — мы не обладаем возможностями планирования и осуществления действий глобального масштаба и не знаем, как приобрести такие возможности. «Глобализация» касается не того, что все мы или хотя бы наиболее изобретательные и предприимчивые из нас, хотим или надеемся совершить. Она означает *то, что со всеми нами происходит*. Идея «глобализации» непосредственно указывает на «анонимные силы» фон Райта, действующие на огромной — туманной и слякотной, непроходимой и не поддающейся освоению — «ничейной земле», простирающейся далеко за пределы способностей любого из нас к замыслу и действию.

Как же так вышло, что перед нашим взором замаячило это огромное пространство рукотворной непроходимой чащи (не «естественные» дебри, которые в эпоху нового времени стали объектом покорения и освоения; но, перефразируя знаменитую фразу Энтони Гидденса, «джунгли, созданные промышленным способом» — заросли, возникшие *после* этого освоения и как его результат)? И почему они приобрели такую неподатливость и живучесть, которая со времен Дюркгейма считается отличительной чертой «суровой реальности»?

Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что мы все чаще сталкиваемся со слабостью, даже бессилием привычных, воспринимаемых как должное, институтов, призванных заниматься наведением порядка.

Почетное место среди них в течение всего периода новой и новейшей истории принадлежало государству. (Так

и подмывает сказать: *территориальному* государству, но в теории и практике этой эпохи идеи государства и «территориального суверенитета» стали синонимами, и потому словосочетание «территориальное государство» превратилось в тавтологию). Вот точное определение государства: это учреждение, претендующее на законное право и утверждающее, что оно обладает достаточными ресурсами, чтобы установить и обеспечить соблюдение правил и норм, определяющих ход событий на определенной территории; правил и норм, которые, как ожидается, превратят случайность в предопределенность, двусмысленность в однозначность, беспорядочность в регулярность — одним словом, первобытный лес в тщательно высаженный сад, хаос — в порядок.

Привести в порядок некий уголок мира означало создать там государство, наделенное властью. Это также с неизбежностью означало намерение установить некую предпочтительную модель порядка в ущерб остальным, конкурирующим моделям. Добиться всего этого можно было, лишь получив в свое распоряжение машину государства или согнав кого-то другого с водительского места в государстве уже существующем.

Макс Вебер определил государство как учреждение, установившее монополию на средства принуждения и их применение на своей суверенной территории. Корнелиус Касториадис предостерегает от распространенной тенденции смешивать государство с социальной властью как таковой: «государство», настаивает он, связано с конкретным способом распределения и концентрации социальной власти, преследующей именно цель повышения способности к «наведению порядка». «Государство, — говорит Касториадис, — это образование, *отделенное* от коллективности и построенное таким способом, чтобы это

отделение было постоянным». Название «государство» следует употреблять «в тех случаях, когда оно построено в форме *Государственного аппарата* — предусматривающей наличие отдельной «бюрократии» — гражданской, клерикальной или военной — пусть и рудиментарного характера: другими словами, иерархической организации с четко отграниченной сферой компетенции».⁶

Отметим, однако, что такое «отделение социальной власти от коллективности» ни в коей мере не было случайностью, капризом истории. Задача наведения порядка требует огромных и постоянных усилий по приобретению, перетасовке и концентрации социальной власти, для чего, в свою очередь, нужны значительные ресурсы, собрать, сосредоточить и нужным образом задействовать которые способно *только* государство в форме иерархического бюрократического аппарата. По необходимости суверенитет государства в законодательной и исполнительной сфере покоился на «треноге» военного, экономического и культурного суверенитета; другими словами, на контроле государства над ресурсами, ранее принадлежавшими раздробленным центрам социальной власти, но теперь собранными воедино ради сохранения самого института государства и поддержания установленного им порядка. Способность к эффективному установлению порядка была бы немыслима без способности эффективно защищать территорию государства от угрозы со стороны иных моделей порядка, как внешней, так и внутренней; способности «сводить баланс» в народном хозяйстве и способности к мобилизации культурных ресурсов, достаточных для поддержания идентичности и своеобразия государства через своеобразную идентичность его подданных.

Лишь немногие из народов, стремившихся к государственному суверенитету, имели достаточную численность и

ресурсы, чтобы пройти этот жесткий тест, позволявший им рассматривать суверенитет и государственность в качестве *реалистичной* перспективы. Поэтому в эпоху, когда наведение порядка осуществлялось прежде всего, или даже — исключительно, через посредство суверенных государств, количество самих этих государств было относительно невелико. По той же причине создание любого суверенного государства, как правило, предусматривало подавление государственных амбиций множества других, более малочисленных народов — подрыва или экспроприации их военного потенциала, экономической самодостаточности и культурного своеобразия, в каком бы скромном и зачаточном состоянии они ни находились.

В этих условиях «мировая арена» служила театром межгосударственной политики, чьей задачей — выполняемой путем военных конфликтов, переговоров, или сочетания обоих методов — было в первую очередь установление и сохранение («международные гарантии») границ, определявших и выделявших территорию, на которой каждое государство обладало суверенитетом в законодательной и исполнительной сфере. «Глобальная политика», в той мере, в какой масштаб внешней политики суверенных государств хоть сколько-нибудь приближался к глобальному, заключалась в основном в поддержании принципа полного и непререкаемого суверенитета каждого из государств над его территорией, сопровождавшемся стиранием с карты мира тех немногих «белых пятен», что там еще оставались, и борьбы с угрозой двусмысленности, время от времени возникавшей из-за «наложения» суверенитетов друг на друга или неудовлетворенных территориальных притязаний. Косвенно, но решительно воздавая должное такому видению мира, участники первой учредительной сессии Организации Африканского Единства

единодушно приняли главное решение — объявили священными и неприкосновенными границы всех вновь возникших государств, хотя, по всеобщему мнению, они являлись искусственным порождением колониальной эпохи. Одним словом, образ «мирового порядка» свелся к совокупности ряда местных «порядков», каждый из которых эффективно поддерживался и эффективно охранялся одним, и только одним, территориальным государством. Считалось, что все государства обязаны спланиваться в защиту «охраненных прав» друг друга.

В течение почти полувека — и этот период закончился совсем недавно — над этим раздробленным миром суверенных государств возвышалась надстройка из двух военно-политических блоков. Каждый из них стремился повысить уровень координации между порядками внутри государств, входивших в зону его «мета-суверенитета», основываясь на предположении, что военный, экономический и культурный потенциал каждого отдельного государства является совершенно недостаточным. Постепенно, но неумолимо — причем в политической практике это происходило быстрее, чем в теории — утверждался новый принцип, принцип *надгосударственной* интеграции. «Мировая арена» все больше рассматривалась как театр, где сосуществовали и соперничали группы государств, а не сами государства.

«Бандунгская инициатива» по созданию неангажированного «безблокового блока» и дальнейшие постоянные усилия неприсоединившихся государств «присоединиться» друг к другу стали косвенным признанием этого нового принципа. Впрочем, эта инициатива последовательно и эффективно подрывалась двумя суперблоками, имевшими, по крайней мере, одну общую черту: они относились к остальному миру точно так же, как участники гонки за

государственное строительство и закрепление границ в XIX в. относились к «белым пятнам» на карте. Неприсоединение, отказ вступить в один из двух суперблоков, упрямая приверженность старомодному и все более устаревающему принципу верховенства суверенитета, воплощенного в государстве, рассматривались в эпоху блоковой политики как эквивалент двусмысленного понятия «ничьей земли», с которым государства Нового времени, соперничая друг с другом, но все же в унисон, боролись всеми средствами.

Политическая надстройка эпохи Великого раскола скрывала из вида более глубинные и — как сейчас выяснилось — более фундаментальные и долгосрочные сдвиги в механизме наведения порядка. Перемены в первую очередь затрагивали роль государства. Все три стойки «треноги суверенитета» сломались и восстановлению не подлежат. Военная, экономическая и культурная самостоятельность, даже самообеспеченность, государства — любого государства — перестала быть реальной перспективой. Чтобы сохранить способность поддерживать законность и порядок, государства вынуждены были вступать в союзы и добровольно отказываться от большей части своего суверенитета. И когда занавес наконец был поднят, за ним обнаружилась незнакомая сцена, населенная диковинными персонажами.

Теперь появились государства, которые — без всякого принуждения со стороны — активно и последовательно стремятся отказаться от своих суверенных прав, и буквально умоляют, чтобы их суверенитет отняли и растворили в надгосударственных структурах. Появились никому не известные или забытые «этноты» — давно исчезнувшие, но теперь воскресшие, или ранее не существовавшие, но выдуманные — порой слишком малочисленные, бедные и неве-

жественные, чтобы пройти любой из традиционных экзаменов на суверенитет, и все же требующие собственной государственности, государственности со всеми атрибутами политического суверенитета и правом устанавливать и поддерживать порядок на своей территории. Древние и молодые народы освобождались от оков федерации, куда их насильно загнала ныне переставшая существовать коммунистическая сверхдержава — но вновь обретенная свобода принятия решений была нужна им лишь для того, чтобы растворить свою политическую, экономическую и военную самостоятельность в структурах Евросоюза и НАТО⁷. Осознание представившейся возможности проигнорировать жесткие условия создания собственной государственности проявилось в том, что десятки «новых государств» рвутся получить офис в и так уже переполненном здании штаб-квартиры ООН, изначально не рассчитанном на такое количество «равноправных».

Парадоксально, но факт: не триумф, а *упадок* государственного суверенитета придал идее государственности столь гигантскую популярность. Как ядовито заметил Эрик Хобсбаум, если голос Сейшельских островов в ООН равен голосу Японии, «то вскоре большую часть членов ООН, вероятнее всего, будут составлять современные (республиканские) аналоги герцогства Саксен-Кобург-Готского и Шварцбург-Зондерхаузена»⁸.

Новая экспроприация: на сей раз — государства

Действительно, никто уже не ожидает, что вновь возникшие государства, как и давно существующие в их нынешнем состоянии, смогут выполнять большинство функ-

ций, когда-то считавшихся главным смыслом существования центральной бюрократии. Прежде всего бросается в глаза, что традиционное государство отказалось или позволило вырвать у себя из рук, такую функцию, как поддержание «динамичного равновесия», определяемого Касториadisом как «примерное равенство между ритмами роста потребления и повышения производительности труда» — задачу, заставлявшую суверенные государства время от времени вводить запреты на импорт или экспорт, таможенные барьеры или, в духе идей Кейнса, административным путем стимулировать внутренний спрос⁹. Всякий контроль над этим «динамичным равновесием» сегодня находится за пределами возможностей, да и желаний подавляющего большинства государств, в остальном обладающих суверенитетом (с точки зрения поддержания порядка в буквальном смысле этого слова). Само различие между внутренним и мировым рынком, и вообще между понятиями «внутренний» и «внешний», с точки зрения государства, сегодня все труднее сохранять во всех отношениях, кроме самого узкого — «контроля над территорией и населением».

Все три стойки «треноги суверенитета» сегодня сломаны. Скорее всего, самые важные последствия связаны с разрушением экономической стойки. Не способные более «сводить баланс» в экономике, и в то же время руководствуясь лишь политически выраженными интересами населения, находящегося в сфере их политической власти, национальные государства все больше превращаются в исполнителей воли и полномочных представителей сил, которые они не могут и надеяться поставить под политический контроль. По меткой оценке одного радикального политического аналитика из Латинской Америки, благодаря «рыхлости» якобы «национальной экономики» всех

сегодняшних стран, а также эфемерности, неуловимости и экстерриториальности пространства, на котором это хозяйство действует, мировые финансовые рынки получили возможность «навязывать всей планете свои законы и предписания. «Глобализация» — это всего лишь тоталитарное внедрение их логики во все сферы жизни». У государств нет ни достаточных ресурсов, ни свободы маневра, чтобы выдержать это давление, просто потому, что «для краха предприятия или самого государства достаточно нескольких минут»:

«В кабаре глобализации государство исполняет стриптиз, и к концу представления на нем остается лишь минимально необходимое: его репрессивные полномочия. Когда его материальная база уничтожена, суверенитет и независимость аннулированы, политический класс стерт с лица земли, национальное государство превращается просто в службу безопасности мега-корпораций...

Новым владыкам мира незачем управлять напрямую. Административные задачи они возлагают на национальные правительства»¹⁰.

Из-за необузданного и беспрепятственного распространения правил свободной торговли, особенно свободы движения капиталов и финансов, «экономика» все больше избавляется от политического контроля; вообще, главный смысл понятия «экономика» сегодня — это «неполитическая сфера». То, что осталось от политики, как и в старые добрые времена, считается компетенцией государства — но ко всему, что связано с экономической жизнью, ему не позволено прикасаться: любой шаг в этом направлении вызовет незамедлительные и жестокие карательные меры со стороны мировых рынков. Оцепеневшей от ужаса правящей «команде» государства будет оче-

редной раз продемонстрировано его экономическое бессилие. Согласно подсчетам Рене Пассе¹¹, общий объем чисто спекулятивных валютных сделок достигает цифры в 1300 млрд долл. в день — что в пятьдесят раз больше суммы торговых обменов и почти равняется совокупным валютным резервам всех «национальных банков мира», составляющим 1500 млрд долл. «Поэтому, — заключает Пассе, — ни одно государство не способно сопротивляться спекулятивному давлению «рынков» дольше, чем несколько дней».

Единственной экономической задачей, которую государству позволено и предписано выполнять, является обеспечение «сбалансированного бюджета» путем контроля и сдерживания требований с мест о более решительном государственном вмешательстве в сферу бизнеса или о защите населения от самых тяжелых последствий рыночной анархии. Как недавно заметил Жан-Поль Фетусси:

«Эта программа, однако, не может быть выполнена, если тем или иным путем не вывести экономику из сферы политики. Существование министерства финансов, несомненно, является необходимым злом, но в идеале от министерства экономики (т. е. от управления экономикой) следует избавиться. Другими словами, правительство нужно лишить ответственности за макроэкономическую политику»¹².

Вопреки часто повторяемому (что вовсе не свидетельствует о его правильности) мнению, не существует ни логического, ни прагматического противоречия между вновь обретенной экстерриториальностью капитала (полной, если речь идет о финансах, почти полной — в области торговли, и весьма значительной — в сфере промышленного производства) и возникновением все

новых и новых слабых и бессильных суверенных государств. Лихорадочная «нарезка» новых, все более слабых и обладающих все меньшими ресурсами «политически независимых» территориальных образований нисколько не мешает экономической глобализации; политическая раздробленность — отнюдь не «палка в колесе» нарождающегося «всемирного общества», спаянного воедино свободным распространением информации. Напротив, судя по всему, глобализация всех сфер экономики и обновленное утверждение «территориального принципа» — явления родственные, взаимно обуславливающие и усиливающие друг друга.

Чтобы обеспечить глобальным финансовым, торговым и информационно-промышленным кругам свободу передвижения и неограниченные возможности в осуществлении их целей, на мировой арене должна царить политическая раздробленность — *morcellement*. Все они, так сказать, жизненно заинтересованы в существовании «слабых государств» — то есть государств *ослабленных*, но при этом *остающихся государствами*. Намеренно или подсознательно, межгосударственные, наднациональные институты, созданные и действующие с согласия глобального капитала, оказывают согласованное давление на все страны, как входящие, так и не входящие в их состав, с целью систематического уничтожения всего, что способно остановить или замедлить свободное движение капитала или ограничить свободный рынок. Предварительное условие получения помощи от всемирных банков и валютных фондов, с которым государства покорно соглашаются, заключается в том, чтобы они открыли двери настежь и оставили саму мысль о самостоятельной экономической политике. Слабые государства — это именно то, в чем нуждается Новый Мировой Порядок —

слишком часто подозрительно напоминающий новый мировой *беспорядок* — для поддержания и воспроизводства своего существования. Слабые квазигосударства легко низвести до уровня местных полицейских участков, обеспечивающих минимальный порядок, необходимый для бизнеса: при этом можно не опасаться, что они смогут эффективно ограничить свободу глобальных корпораций.

Отделение экономики от политики и избавление первой от регулирующего вмешательства последней, в результате чего политика лишается полномочий эффективно действующего института, означает нечто большее, чем простое перераспределение социальной власти. Как указывает Клаус Оффе, само существование политики как института — т. е. «способность делать коллективный обязывающий выбор и выполнять принятое решение» — становится проблематичным. «Вместо того, чтобы спрашивать, что требуется сделать, более плодотворным занятием будет выяснить, способен ли кто-нибудь сделать то, что требуется». Поскольку «границы утратили непроницаемость» (впрочем, только для узкого круга избранных), то и «суверенитет стал номинальным, власть анонимной, а ее дом опустел». Нам пока еще далеко до пункта назначения; процесс продолжается, но похоже его уже не остановить. «Его модель можно охарактеризовать словами «отпустить тормоза»: это дерегулирование, либерализация, гибкость, растущая подвижность, облегчение сделок в сфере недвижимости и сделок на рынке труда, снижение налогового бремени и т. д.»¹³. Чем более последовательно эта модель проводится в жизнь, тем меньше полномочий остается в руках института, способствующего ее внедрению, и тем меньше способен этот слабеющий институт отказаться от ее внедрения, при всем желании или необходимости.

Одно из важнейших последствий глобальной свободы передвижения заключается в том, что воплотить общественно значимые проблемы в эффективные коллективные действия становится все труднее, а то и просто невозможно.

Глобальная иерархия мобильности

Вспомним еще раз о том, на что много лет назад указывал Мишель Крозье в новаторском исследовании «Бюрократический феномен»: стратегия завоевания господства, по сути, всегда одинакова — необходимо оставить максимальный простор и свободу маневра за тем, кто господствует, и одновременно жесточайше ограничить свободу принятия решений теми, на кого это господство распространяется.

Некогда эта стратегия успешно применялась правительствами государств, но теперь они оказались ее жертвами. Сегодня главным источником неожиданностей и неуверенности является поведение «рынков» — прежде всего, мировых финансовых рынков. Поэтому нетрудно догадаться, что замена территориальных «слабых государств» некими глобальными структурами, имеющими законодательные и «полицейские» полномочия, не соответствовала бы интересам «мировых рынков». Отсюда и обоснованные подозрения, что политическая фрагментация и экономическая глобализация — это не соперники, преследующие противоположные цели, а союзники и участники одного заговора.

Интеграция и раздробленность, глобализация и территориализация — это *взаимодополняющие процессы*. Точнее, это две стороны одного процесса: процесса перерас-

пределения суверенитета, власти и свободы действий в мировом масштабе, катализатором (но ни в коей мере не причиной) которого стал радикальный скачок в развитии технологий, связанных со скоростью. Совпадение и переплетение синтеза и раздробления, интеграции и распада отнюдь не случайно, и изменить эту ситуацию уже невозможно.

Именно из-за этого совпадения и переплетения двух, казалось бы, противоположных тенденций, «запущенных» благодаря решающему воздействию новой свободы передвижения, так называемые процессы «глобализации» оборачиваются перераспределением привилегий и лишений, богатства и бедности, ресурсов и бессилия, власти и безвластия, свободы и ограничений. Сегодня мы стали свидетелями процесса *рестратификации* в мировом масштабе, в ходе которого формируется новая социокультурная иерархия, всемирная общественная лестница.

Распространение квазисуверенитетов, территориальное разделение и сегрегация идентичностей, чему способствует и превращает в «наущную необходимость» глобализация рынков и информации, вовсе не означает, что на арене появилось большое количество разнообразных «равных партнеров». То, что для одних — результат свободного выбора, на других обрушивается как жестокий удар судьбы. А поскольку число этих «других» неуклонно растет и они все глубже погружаются в отчаяние, порожденное бесперспективностью их существования, было бы, пожалуй, целесообразнее говорить о процессе «*глокализации*» (используя удачный термин Роланда Робертсона, раскрывающий неразрывное единство между тенденциями к «глобализации» и «локализации» — феномен, который скрывает односторонняя концепция

глобализации), определяя его прежде всего как процесс концентрации капитала, финансов и других ресурсов, позволяющих делать выбор и действовать эффективно, но также — и возможно это главное — *концентрации свободы* передвижения и действий (на практике это фактически одно и то же).

Комментируя выводы очередного ООНовского «Доклада о развитии человечества», где отмечалось, что совокупное состояние 358 самых богатых «глобальных миллиардеров» равно общему доходу 2,3 млрд беднейших жителей планеты (составляющих 45% ее населения), Виктор Киган¹⁴ назвал сегодняшнюю перетасовку ресурсов в мире «новой формой грабежа на большой дороге». Действительно, так называемым «развивающимся странам» принадлежит лишь 22% мирового *богатства*, тогда как их население составляет 80% всего населения Земли. И это еще далеко не апогей нынешней поляризации, поскольку доля общемировых *доходов*, достающаяся беднякам, еще меньше: в 1991 г. 85% населения Земли получали лишь 15% от общемирового дохода. Неудивительно, что ничтожная цифра в 2,3% общемирового богатства, принадлежавшего тридцать лет назад беднейшим странам (20% от общего количества государств), сегодня снизилась еще больше — до 1,4%.

Пользование глобальной коммуникационной сетью, которой призывают восторгаться как воротами в царство новой свободы и особенно как технологической основой всеобщего равенства, также весьма ограничено; это узенькая щель в толстой стене, а отнюдь не ворота. Мало (и с каждым днем все меньше) людей получают пропуск на вход в это царство. «Все, что компьютеры делают для «третьего мира» — это играют роль более эффективных летописцев его упадка», — говорит Киган. И подводит итог:

«Если бы (как заметил один американский критик) 358 самых богатых людей решили бы оставить себе миллионов по пять долларов, чтобы свести концы с концами, а остальное бы раздали, это позволило бы в буквальном смысле удвоить годовой доход чуть ли не половины населения Земли. И потекли бы молочные реки меж кисельных берегов».

Как утверждает Джон Кавано из вашингтонского Института политических исследований:

«Глобализация предоставила самым богатым больше возможностей делать деньги еще быстрее. Эти люди используют новейшие технологии для чрезвычайно быстрого перемещения крупных денежных сумм по всему земному шару и проведения более эффективных спекулятивных операций.

К сожалению, в нашем мире технологии никак не влияют на жизнь бедняков. Фактически, глобализация — это парадокс: принося огромную выгоду ничтожному меньшинству, она оставляет за рамками или превращает в маргиналов две трети населения планеты»¹⁵.

Как говорится в фольклоре нового поколения «просвещенных классов», рожденного в дивном новом монетарном мире кочующего капитала, стоит открыть шлюзы и взорвать построенные государством дамбы, и все в мире станут свободными. Согласно подобным фольклористским верованиям, свобода (в первую очередь, торговли и движения капитала) — это теплица, в котором богатство будет расти быстрее, чем когда-либо; а при умножении богатства обогатятся все.

Бедняки нашего мира — «старые» или «новые», получившие бедность в наследство или обедневшие в результате внедрения компьютерных технологий — вряд ли способны соотнести эту фольклористскую выдумку со своим собственным положением. Ключевое слово

здесь — информационные технологии, а информационные технологии, посредством которых создается всемирный рынок, не способствуют, а наоборот исключают возникновение обещанного «эффекта капиллярного перетекания». Новые состояния рождаются, растут и созревают в виртуальной реальности, наглухо изолированной от старомодной, суровой и земной, реальности бедняков. Процесс обогащения скоро окончательно освободится от вековой — сковывающей и раздражающей — связи с производством вещей, обработкой материалов, созданием рабочих мест и руководством людьми. «Старые богачи» нуждались в бедняках, которые создавали их богатство и поддерживали его. Эта зависимость во все времена смягчала конфликт интересов и побуждала первых проявлять хоть какую-то, пусть минимальную, заботу о последних. Новым богачам бедняки не нужны. Наконец-то до блаженства новой свободы рукой подать.

Лживость обещаний, связанных со свободой торговли, хорошо маскируется: в сообщениях из регионов, ставших жертвами «глокализации», трудно проследить связь между растущей нищетой, отчаяньем «прикрепленного к земле» большинства и вновь обретенной свободой мобильного меньшинства. Напротив, возникает впечатление, что эти два явления относятся к разным мирам, что каждое из них вызвано своими, совершенно разными причинами. Из этих сообщений никогда не поймешь, что корень быстрого обогащения и быстрого обнищания один и тот же, что «прикованность» отверженных — столь же закономерный результат воздействия «глокализации», как и новая бескрайняя свобода добившихся успеха (подобным же образом, из социологических исследований о Холокосте и других актах геноцида, нельзя понять, что это событие является столь же неотъемлемой частью современного об-

щества, как экономический, технологический и научный прогресс и повышение уровня жизни).

Ситуацию недавно объяснил Р. Капучиньский, один из самых нелицеприятных летописцев современной жизни: «эта эффективная маскировка достигается за счет трех взаимосвязанных приемов, постоянно используемых СМИ, контролирующими редкие «карнавальные» всплески общественного интереса к невзгодам «бедных мира сего».¹⁶

Во-первых, сообщения в новостях о голоде в той или иной стране — а это, пожалуй, единственное, что еще может нарушить равнодушие людей, — как правило сопровождаются недвусмысленным напоминанием, что те же самые далекие регионы, где, «как показывают по телевизору, люди умирают от голода, являются родиной «азиатских тигров», которые изобретательнее и смелее всех сумели воспользоваться новыми методами «делать дела». Неважно, что население всех «тигров» вместе взятых составляет не больше 1% населения только одной Азии. Ссылка на «тигров», как считается, должна продемонстрировать то, что и следовало доказать: несчастья голодных и ленивых — это их собственный выбор: альтернативы существуют, и до них рукой подать, но они остаются невостребованными из-за недостатка предприимчивости или решимости. Главная идея состоит в том, что сами бедняки виноваты в своей судьбе: они могли, как это сделали «тигры», выбрать себе легкую добычу, но это никак не связано с аппетитами самих тигров.

Во-вторых, новости составляются и редактируются таким образом, чтобы свести проблему бедности и обездоленности только к вопросу о голоде. Эта стратегия позволяет убить сразу двух зайцев: занижается реальный масштаб бедности (от постоянного недоедания страдают

800 млн человек, а в бедности живут порядка 4 млрд — две трети населения планеты), а значит, задача заключается лишь в том, чтобы накормить голодных. Но, как указывает Капучиньский, такая подача проблемы бедности (ее примером является один из недавних номеров журнала «Экономист», где этот вопрос анализируется в материалах под заголовком «Как накормить мир?») «необычайно принижает, практически не признает статуса полноценных людей за теми, кому мы по идее хотим помочь». Уравнение «бедность=голод» замалчивает ряд других сложных аспектов бедности: «ужасающие бытовые и жилищные условия, болезни, неграмотность, агрессию, распад семей, ослабление социальных связей, отсутствие надежд на будущее» — эти недуги не вылечишь высококалорийными галетами и порошковым молоком. Капучиньский вспоминает, как он бродил по африканским городкам и деревням, встречая детей, «которые клянчили у меня не хлеб, воду, шоколад или игрушки, а шариковую ручку: они ходили в школу, но им нечем было записывать уроки».

Добавим, что при демонстрации ужасающих картин голода средства массовой информации тщательно избегают любых ассоциаций этого явления с отсутствием работы и ликвидацией рабочих мест (т. е. с глобальными причинами бедности на местах). Людей показывают «наедине» с голодом — но сколько бы зритель ни напрягал зрение, он не увидит на телевизионной картинке ни одного рабочего инструмента или участка возделанной земли, ни одного домашнего животного — и не услышит ни одного упоминания о них. Словно и не существует связи между пустыми рутинными призывами «встать и идти работать», адресованными беднякам в мире, где новые трудовые ресурсы просто не нужны, и уж точно они не нужны в регионах, откуда нам показывают репор-

тажи о людях, умирающих с голоду, и «карнавальной» подачей людских страданий в духе «благотворительной ярмарки», дающей выход подавленному нравственному чувству. Богатство глобально, нищета локальна — но между этими двумя явлениями нет причинно-следственной связи; по крайней мере ее не найти в спектакле, изображающем тех, кто кормит, и тех, кого кормят.

Виктор Гюго заставил одного из своих персонажей — Анжольраса — мечтательно произнести за минуту до гибели на одной из множества баррикад девятнадцатого столетия: «Двадцатый век будет счастливым». Но получилось так — замечает Рене Пассе — что «технологии «бестелесного», вдохновлявшие это обещание, одновременно влекут за собой его отрицание», особенно если они «сочетаются с лихорадочной политикой освобождения обменов и движения капитала в планетарном масштабе». Технологии, позволяющие фактически избавиться от времени и пространства, очень быстро «раздевают» пространство донага и обчищают его до нитки. Они придают капиталу подлинно глобальный характер; они вынуждают тех, кто неспособен следовать или препятствовать новому кочевому образу жизни капитала, беспомощно наблюдать, как их средства к существованию скудеют и исчезают и остается гадать, откуда обрушилась эта напасть. Глобальные перемещения финансовых ресурсов, пожалуй, столь же бестелесны, как и электронная сеть, по которой они перемещаются — но следы, оставляемые их движением на местах, до боли осязаемы и реальны: «качественная депопуляция», уничтожение местного хозяйства, некогда способного поддерживать существование населения, отчуждение миллионов людей, не вписывающихся в новую глобальную экономику.

В-третьих, зрелища катастроф, в том виде, в каком их подают СМИ, поддерживают и усиливают обыденное,

повседневное этическое безразличие еще одним способом, помимо «разгрузки» накопившихся запасов моральной ответственности. Их долгосрочный эффект состоит в том, что «развитая часть мира окружает себя санитарным кордоном отстраненности, возводит Берлинскую стену в глобальном масштабе; вся информация, что приходит «извне» — это картины войны, убийств, наркомании, грабежей, болезней, беженцев и голода; то есть того, что несет в себе угрозу для нас». Лишь изредка, обязательно в приглушенных тонах и вне всякой связи со сценами гражданских войн и массовых убийств, нам сообщают о смертоносном оружии, используемом в этих конфликтах. Еще реже, если это вообще случается, нам напоминают о том, что мы знаем сами, но не желаем слышать: все это оружие, превращающее чью-то родину в поле сражения, поступает с наших военных заводов, ревностно следящих, чтобы их портфели заказов никогда не пустели и гордящихся высокими производственными показателями и конкурентоспособностью их продукции на мировом рынке — этой основой нашего драгоценного процветания. В общественном сознании отпечатывается синтетический образ *добровольной жестокости* — образ «опасных улиц» и «мест, куда не следует заходить» разрастается — это увеличенный снимок «разбойничьего царства», чуждого мира недочеловеков, за гранью этики и без надежд на спасение. Попытки спасти этот мир от самых тяжелых последствий его собственной жестокости могут принести лишь временный результат и в долгосрочной перспективе обречены на неудачу; веревки, которые мы бросаем утопающим, можно очень легко превратить в новые удавки.

Тот факт, что «жители далеких мест» ассоциируются у нас с убийствами, эпидемиями и грабежами, играет еще одну важную роль. Раз они там такие чудовища, остается

только благодарить бога за то, что он создал их именно там — *далеко от нас*, и молиться, чтобы там они всегда и оставались.

Стремление голодных отправиться туда, где еды в изобилии, вполне естественно с точки зрения любого разумного человечка; совесть подсказывает также, что правильным и нравственным поступком было бы позволить им удовлетворить это стремление. Именно из-за своей несомненной разумности и этической корректности массовая миграция бедняков и голодающих представляется разумному и этичному миру столь удручающей перспективой; так трудно не испытать чувство вины, лишая бедных и голодных права отправиться туда, где еды в достатке; к тому же практически не существует разумных аргументов, чтобы доказать, что решение мигрировать являлось бы для них самих неразумным. Действительно, проблема просто неразрешима: надо лишить других неотъемлемого права на свободу передвижения, которое мы сами превозносим как высшее достижение глобализующегося мира и гарантию его растущего благосостояния...

И здесь весьма кстати подворачиваются образы бесчеловечности, царящей в тех землях, где живут потенциальные мигранты. Они укрепляют решимость, которую невозможно поддержать разумными и этичными аргументами. Они способствуют тому, чтобы местные оставались на месте, а глобалисты с чистой совестью могли путешествовать, куда захотят.

Примечания

¹ Richard Sennett. Something in the city: the spectre of uselessness and the search for a place in the world // *Times Literary Supplement*. 1995. 22 September. P. 13.

² Martin Woollacott. Bosses must learn to behave better again // *The Guardian*. 1997. 14 June.

³ Vincent Cable. *The World's New Fissures: Identities in Crisis*. London: Demos, 1996. P. 20, 22.

⁴ Alberto Melucci. *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge University Press, 1996. P. 150.

⁵ Georg Henrik von Wright. The crisis of social science and the withering away of the nation state // *Associations*. 1997. №1. P. 49—52.

⁶ Cornelius Castoriadis. Pouvoir, politique, autonomie // *Le monde morcelé*. Paris: Seuil, 1990. P. 124.

⁷ Как и следовало ожидать, именно «этнические меньшинства», или, в более общем плане, малочисленные и слабые этнические группы, неспособные сами по себе создать государство, соответствующее стандартам эпохи «мира государств», проявляют особый энтузиазм в связи с растущим могуществом надгосударственных образований. Отсюда непоследовательные претензии на государственность, выраженные в духе приверженности институтам, чьей заявленной или подозреваемой целью является ее ограничение, а в конечном итоге — полная ликвидация.

⁸ См.: Eric Hobsbawm. Some reflections on the «break-up of Britain» // *New Left Review*. 1977. № 105. Обратите внимание на дату публикации: с 1977 г. процесс, угаданный Хобсбаумом, ускорился, и его слова быстро превращаются в реальность.

⁹ См.: Cornelius Castoriadis. La crise des sociétés occidentales // *La montée de l'insignifiance*. Paris: Seuil, 1996. P. 14—15.

¹⁰ См.: Sept pièces du puzzle néolibéral: la quatrième guerre mondiale a commencé // *Le Monde diplomatique*. 1997. Août. P. 4—5. Статья подписана: «майор Маркос» и была прислана из района Чиapas в Мексике, охваченного крестьянскими волнениями.

¹¹ См.: René Passat. Ces promesse des technologies de l'immatériel // *Le monde diplomatique*. 1997. Juillet. P. 26.

¹² См.: Jean-Paul Fetoussi / Europe: le commencement d'une aventure // *Le Monde*. 1997. 29 Août.

¹³ См.: Claus Offe. *Modernity and the State: East, West*. Cambridge: Plity Press, 1996. P. vii, ix, 37.

¹⁴ См.: Victor Keegan. Highway robbery by the super-rich // *The Guardian*. 1996. 22 July.

¹⁵ Цит. по: Graham Balls and Milly Jenkins. Too much for them, not enough for us // *Independent on Sunday*. 1996. 21 July.

¹⁶ См.: Ryszard Kapuściński. *Lapidarium III*. Warsaw, 1996.

Туристы и бродяги

Все мы сегодня находимся в движении.

Многие перемещаются с места на место: переезжают в новое жилье или путешествуют. Некоторым для того, чтобы путешествовать, незачем даже выходить из дома: можно просто порхать по Интернету, вызывая и совмещая на компьютерном экране сообщения со всех концов света. Но большинство из нас движется, даже если физически, телесно мы остаемся на месте. Например, сидя в кресле и по привычке переключая спутниковые или кабельные каналы на телевизоре, мы проникаем в незнакомые места и покидаем их со скоростью, намного превосходящей возможности сверхзвуковых реактивных самолетов или космических ракет, но везде остаемся гостями, нигде не задерживаемся настолько, чтобы почувствовать себя как дома.

В мире, где мы живем, расстояния, похоже, не имеют особого значения. Иногда возникает ощущение, что они существуют лишь для того, чтобы их можно было отменить; словно пространство только и делает, что поминутно

предлагает нам пренебречь им или опровергнуть его. Пространство — уже не помеха: чтобы покорить его, хватит и доли секунды.

«Естественных границ» больше не существует, как не существует и очевидных «свободных мест». Где бы мы ни находились в данный момент, мы знаем, что могли бы с таким же успехом быть где угодно, так что у нас все меньше причин оставаться в любом конкретном месте (и потому мы зачастую испытываем неодолимую потребность найти или выдумать такую причину). Афоризм Паскаля оказался пророческим: мы действительно живем внутри странного круга: его центр везде, а окружность — нигде (или, кто знает, может быть, на самом деле все наоборот?)

Так что, по крайней мере, в духовном смысле, все мы путешественники. Или, как выразился Майкл Бенедикт, «само значение географического положения на всех уровнях начинает подвергаться сомнению. Мы превращаемся в кочевников, никогда не теряющих контакта друг с другом»¹. Но мы находимся в движении и в другом, более широком смысле этого слова, независимо от того, двинулись мы в путь или «скачем по телеканалам», нравится нам это или нет.

Идея «состояния покоя», неподвижности имеет смысл лишь в мире, воспринимаемом как неподвижный; там, где стены крепки, дороги проложены, а указатели расставлены так давно, что успели заржаветь. Нельзя «сохранять неподвижность» в зыбучих песках. Точно так же нельзя сохранять неподвижность и в нашем позднесовременном или постсовременном мире — мире, где указатели поставлены на колеса и имеют дурную привычку исчезать из вида, прежде чем вы успеете прочитать то, что на них написано, осмыслить прочитанное и поступить

соответственно. Профессор Рикардо Петрелла из Католического университета в Лувене недавно весьма удачно резюмировал эти наблюдения: «Глобализация заставляет экономику «производить» эфемерность, непостоянство (из-за массированного и повсеместного сокращения срока годности продукции и срока действия услуг) и ненадежность (из-за временной, гибкой и частичной занятости)»².

Чтобы продрааться через плотную и темную, беспорядочную, «дерегулированную» чашу глобальной конкуренции и выбраться на свет общественного внимания, товары, услуги и информация должны возбуждать желание, а для этого им необходимо соблазнить потенциальных потребителей и в искусстве соблазнения превзойти конкурентов. Но стоит им этого достичь, как уже пора уступать место — и не мешкая — другим объектам желания, иначе глобальная гонка за прибылями и еще большими прибылями (переименованная в «экономический рост») прекратится. Сегодня промышленность все больше нацеливается на производство приманок и искушений. А приманки по природе своей сохраняют привлекательность и соблазнительность лишь до тех пор, пока они маячат вдалеке, искушение же существует, пока ему не поддаешься — подобно тому, как желание исчезает после его удовлетворения.

У этой гонки за новыми желаниями, а не их удовлетворением, нет четкой финишной черты. Само понятие «предела» требует пространственно-временных измерений. Если «из желания вычесть ожидание», то и ожидание перестает быть желанным. Когда любую задержку можно, в принципе, сократить до секунды, так что в одну человеческую жизнь «втискивается» бесконечное множество событий во времени, и когда любое расстояние, похоже,

можно сжать до вытянутой руки, так что, в принципе, не существует пространственного масштаба, недоступного для искателя новых ощущений — что может означать идея «предела»? А без такого значения, без «осмысленной идеи» волшебное колесо искушения и желания никогда не остановится. Последствия этого — как на самом верху, так и у основания общественной пирамиды — огромны. Согласно убедительному замечанию Джереми Сибрука:

«...бедность нельзя «излечить» — ведь это не признак того, что капитализм болен. Как раз наоборот: это свидетельство его цветущего здоровья, готовности к еще большему ускорению и готовности к борьбе... Даже богатейшие люди мира больше всего жалуются на то, что им во многом приходится себе отказывать... Даже самые привилегированные вынуждены нести в себе страстное желание приобрести...»³

Быть потребителем в обществе потребления

Наше общество — общество потребления.

Говоря об обществе потребления, мы имеем в виду нечто большее, чем банальный тезис о том, что все члены этого общества «потребляют»; все люди, более того, все живые существа «потребляют» с незапамятных времен. Речь идет о том, что наше общество является «обществом потребления» в том же глубоком и фундаментальном смысле, в каком общество наших предков, современное общество в его основополагающей индустриальной стадии было «обществом производства». В том, прежнем виде современное общество задействовало своих членов прежде всего в качестве производителей и солдат; способы, которым это общество «формировало» людей, «нор-

мы», которые оно им предъявляло и которым оно побуждало их следовать, диктовались обязанностью играть эти две роли. Нормой, которую общество внушало своим членам, была способность и желание играть эти роли. Но на своей нынешней «позднесовременной» (Гидденс), «второй современной» (Бек), «сюрсовременной» (Баландье) или «постсовременной» стадии современное общество не слишком нуждается в массовой промышленной рабочей силе и всеобщей воинской повинности; вместо этого ему необходимо задействовать своих членов в качестве потребителей. Способ, которым сегодняшнее общество «формирует» своих членов, диктуется в первую очередь обязанностью играть роль потребителей. Нормой, которую наше общество внушает своим членам, является способность и желание играть эту роль.

Конечно, разница между жизнью в теперешнем обществе и в обществе, непосредственно предшествовавшем ему, не столь радикальна, чтобы привести к полной смене ролей. Ни на одной из двух стадий своего развития современное общество не может обойтись без производства товаров для последующего потребления — и на обеих этих стадиях члены общества, естественно, потребляют. Разница между двумя этапами современности заключается «всего лишь» в акцентах и приоритетах, но это смещение акцентов связано с огромными различиями во всех аспектах существования общества, культуры и жизни отдельных людей.

Эти различия столь глубоки и многообразны, что с полным основанием позволяют утверждать: мы живем в обществе, имеющем самостоятельный, своеобразный характер — обществе потребления. Потребитель общества потребления резко отличается от потребителей во всех других ранее существовавших обществах. Если

философы, поэты и проповедники нравственности во времена наших предков задавались вопросом о том, работает ли человек, чтобы жить, или живет, чтобы работать, то сегодня чаще всего обсуждается другая дилемма: должен ли человек потреблять, чтобы жить, или он живет для того, чтобы потреблять. И это только в тех случаях, когда мы еще можем, и считаем необходимым, отличать жизнь от потребления.

В идеале, все приобретенные привычки должны лежать на плечах этого «потребителя нового типа» так же, как вдохновенная этикой страсть к профессионализму и накопительству должна была лежать — этот афоризм вслед за Бакстером повторил Макс Вебер — на плечах протестантского святого «подобно легкому плащу, который можно отбросить в любой момент»⁴. И действительно, эти привычки непрерывно, ежедневно, при первой возможности отбрасываются, им никогда не дается шанс приобрести твердость стальных прутьев клетки (кроме единственной метапривычки — «привычки менять привычки»). В идеале, потребитель не должен иметь твердых привязанностей, ничто не должно побудить его к обязательству «быть вместе, пока смерть не разлучит нас». Ни одна потребность не должна рассматриваться как полностью удовлетворенная, ни одно желание — как последнее. Любая клятва верности и любое обязательство должны сопровождаться пунктом «до уведомления об обратном». По-настоящему значение имеет лишь непостоянство, изначально временный характер любой привязанности; это важнее, чем сама привязанность, которой все равно не позволят продлиться дольше, чем необходимо для потребления желаемого предмета (или, точнее, ровно столько, сколько необходимо, чтобы этот предмет перестал возбуждать желание).

Бедой общества потребления и причиной серьезной обеспокоенности торговцев потребительскими товарами является тот факт, что любое потребление занимает время. Между выдающейся карьерой понятия «сейчас», совершенной благодаря технологиям, сжимающим время, и логикой экономики, ориентированной на потребителя, существует естественный резонанс. Что касается последней, то удовлетворение потребителя должно быть *моментальным*, причем в двояком смысле. Несомненно, потребляемый товар должен удовлетворять сразу, без овладения дополнительными навыками и длительной подготовки; но, кроме того, удовлетворение должно заканчиваться «сразу же», то есть в тот момент, когда заканчивается время, необходимое для его потребления. А это время необходимо свести к минимуму.

Необходимое сокращение времени лучше всего достигается, если потребители не могут надолго сосредоточить внимание на каком-то одном предмете, если они нетерпеливы, порывисты и непоседливы, а главное — легко возбуждаются и столь же легко теряют интерес. Культура общества потребления в основном связана с тем, чтобы забывать, а не запоминать. Действительно, когда из желания вычитается ожидание, а из ожидания — желание, способность потребителей к потреблению можно расширить далеко за пределы естественных и приобретенных потребностей; кроме того, от предметов желания больше не требуется физической долговечности. Традиционная связь между потребностями и их удовлетворением переворачивается с ног на голову: обещание и ожидание удовлетворения предшествует потребности, которую обещано удовлетворить, и они неизменно будут более острыми и захватывающими, чем существующие потребности.

Кстати, обещание кажется тем более привлекательным, чем меньше мы знаем о данной потребности; пережить впечатления, о существовании которых ты и не подозревал, — это такое удовольствие, а хороший потребитель — всегда искатель приключений и любитель удовольствий. В глазах хорошего потребителя особую соблазнительность обещанию придает не терзающая его, потребителя, необходимость удовлетворить желание, а мучительное осознание, что существуют желания, которые он еще не испытал и о которых даже не подозревает.

Тип потребителя, рожденного и выращенного в инкубаторе общества потребления, очень метко описал Джон Кэррол, воспользовавшись едкой, но пророческой карикатурой Ницше на «последнего человека» (см. новую книгу Кэррола, которая скоро выйдет в свет, — «Эго и душа: социология современного Запада в поисках смысла»):

«Дух этого общества провозглашает: если чувствуешь себя плохо — ешь! ...Потребительский рефлекс меланхоличен, он предполагает, что болезнь принимает форму ощущения пустоты, холода, однообразия — необходимости насытиться теплыми, разнообразными, дающими энергию вещами. Конечно, это не обязательно еда, это то, что заставляет, как в песне Битлз, «чувствовать себя счастливым внутри». Объедение — это путь к спасению: потребляй и будешь чувствовать себя хорошо!...

Не менее важна непоседливость, мания перемены мест, движения, смены впечатлений: сидеть неподвижно — все равно что умереть... Таким образом, потребление — это социальный аналог психического расстройства — депрессии, с ее двумя противоположными симптомами: упадком сил и неспособностью заснуть».

Для потребителей в обществе потребления постоянно находиться в движении — искать и не находить, а точнее,

«пока не находить» — это не болезнь, а обещание блаженства, может быть, даже само блаженство. Они столько ожидают от путешествия, что прибытие на место становится для них проклятием. (Морис Бланшо как-то заметил, что ответ — это несчастье вопроса; мы можем сказать, что удовлетворение — это несчастье желания). Имя потребительской игре — не столько жадность к приобретательству и владению, не накопление богатств в его материальном, осязаемом смысле, сколько страсть к новым, доселе не испытанным ощущениям. Потребители — это в первую очередь коллекционеры ощущений; они собирают вещи лишь во вторую очередь, как следствие.

Марк Тэйлор и Эса Сааринен выразили это одной фразой: «желание не желает удовлетворения. Напротив, желание желает желания»⁵. Это относится к желанию идеального потребителя. Перспектива блекнувшего и тающего желания, перспектива оказаться в ситуации, когда ничто не может его возродить, или оказаться в мире, где желать просто нечего, — для идеального потребителя это самый страшный кошмар (и для торговца потребительскими товарами тоже).

Чтобы усилить их способность к потреблению, потребителям нельзя давать передышки. Они должны постоянно бодрствовать и быть начеку, их следует постоянно подвергать новым искушениям и тем самым постоянно держать в состоянии повышенной возбудимости, а кроме того, в состоянии вечной подозрительности и недовольства. «Наживки», побуждающие их переключить внимание, должны подтверждать подозрения и в то же время обещать выход из состояния недовольства: «Думаете, вы уже все видели? Ничего вы еще не видели!»

Часто говорят, что потребительский рынок соблазняет клиентов. Но для этого ему нужны клиенты, *желающие*,

чтобы их соблазнили (как владельцу фабрики, чтобы управлять рабочими, нужен персонал с прочно усвоенной привычкой к дисциплине и подчинению приказам). В бесперебойно действующем обществе потребления потребители активно стремятся к тому, чтобы их соблазнили. Их деды жили от одного шага конвейера до другого. Сами же они живут по-иному: от приманки до приманки, от искушения до искушения, от овладения одним лакомым кусочком до поисков другого; проглотив одну наживку, они устремляются к следующей, — причем каждый раз это новая, отличная от предыдущей и более привлекательная приманка, искушение, кусочек и наживка.

Для полностью «оперившихся», зрелых потребителей такой образ действий обязателен, — это необходимость; и все же эта «необходимость», этот внутренний зуд, эта невозможность жить по-другому представляется им самим в виде свободного волеизъявления. Возможно, рынок уже выбрал их в качестве потребителей и отнял свободу игнорировать его посулы; при каждом посещении рынка у потребителей появляются все основания считать, что главные здесь они, и только они. Они и судьи, и критики, они делают выбор. В конце концов они могут отказаться от любого из бесконечного множества предлагаемых им выборов. Кроме одного — выбора выбирать только из них, — но это даже и выбором не является.

Именно это сочетание потребителей, постоянно жаждущих новых приманок и быстро устающих от уже испробованных приманок, и измененного мира, во всех аспектах: экономическом, политическом, личном — по образцу потребительского рынка, и, подобно этому рынку, всегда готового услужливо менять свои приманки со все возрастающей скоростью — приводит к исчезновению всех фиксированных «указателей», из стали, бетона

или взятых только из индивидуальных карт мира и жизненных маршрутов. Действительно, в жизни потребителя путешествие в ожидании нового — куда большее удовольствие, чем прибытие на место. У конечного пункта назначения прелый запах конца пути, горький вкус монотонности и застоя, это конец всему, чем и ради чего потребитель — идеальный потребитель — живет и что считает смыслом жизни. Чтобы наслаждаться лучшим из того, что может предложить вам этот мир, делайте все, кроме одного: не говорите, вслед за Фаустом Гёте: «Остановись мгновение, ты прекрасно!»

Потребитель — это человек, находящийся в движении и обреченный на вечное движение.

Мы движемся порознь

Единственное, что даже самые искушенные и проницательные мастера не выбирают и не могут выбрать, это общество, в котором они рождены, — и потому все мы находимся в пути, нравится нам это или нет. В любом случае, нашего мнения никто не спрашивал.

Нас выбросили в открытое море без навигационных карт, а все бакены скрылись под водой настолько, что их почти не видно, так что выбирать мы можем только одно из двух: радоваться захватывающей дух перспективе новых открытий или дрожать от страха, что можем утонуть. Есть еще одна возможность, на самом деле не слишком реальная — попытаться найти убежище в безопасной бухте; но можно поспорить, что то, что сегодня кажется тихой гаванью, вскоре подвергнется модернизации, и на месте солидных лодочных хранилищ появятся парк развлечений, набережная для прогулок и переполненная

пристань для яхт. Третий вариант невозможен, и вопрос о том, какой из двух других будет избран или станет долей моряка, во многом зависит от качеств корабля и мореходного искусства матросов. Чем прочнее корабль, тем меньше оснований опасаться приливов и штормов. Однако не на каждом корабле можно выйти в море. Так что, чем больше протяженность свободного плавания, тем больше поляризуется судьба моряков и тем глубже пропасть между этими полюсами. То, что будет забавным приключением для хорошо оснащенной яхты, для рассохшегося ялика может превратиться в опасную ловушку. В конечном итоге, разница между этими полюсами равняется разнице между жизнью и смертью.

Каждый может *очутиться* в роли потребителя; у каждого может возникнуть *желание* стать потребителем и наслаждаться возможностями, которые предоставляет подобный образ жизни. Но не каждый способен *быть* потребителем. Одного желания недостаточно; чтобы желание стало по-настоящему желанным и тем самым приносило удовольствие, нужна относительно реальная надежда на возможность приблизиться к объекту желания. У одних есть все основания на это надеяться, а для многих других это просто беспочвенная мечта. В жизни все мы обречены делать выбор, но не у всех есть возможности для этого.

Как и все другие известные нам общества, постсовременное общество потребления имеет стратифицированный характер. Но один тип общества отличается от другого критериями, по которым происходит стратификация его членов. Критерием, в соответствии с которым общество потребителей делится на «верхи» и «низы», является *степень мобильности* — свобода выбора местонахождения.

Одно из различий между «верхами» и «низами» заключается в том, что первые могут оставить далеко позади, покинуть последних, но не наоборот. В современных городах установился «апартеид по районам»: те, кто может себе это позволить, покидают грязные и убогие кварталы, к которым «прикованы» другие — те, кому переезд не по средствам. В Вашингтоне этот процесс уже завершился, в Чикаго, Кливленде и Балтиморе — близок к завершению. На Вашингтонском рынке жилья дискриминации нет. И все же в городе существует невидимая граница, проходящая по 16-й улице на западе и вдоль реки Потомак на северо-западе, которую оставленным за нею лучше не пересекать. Подростки, оставшиеся за этой невидимой, но абсолютно реальной границей, ни разу в жизни не видели центр Вашингтона со всем его блеском, кичливой элегантностью и утонченными развлечениями. Этого центра в их жизни просто не существует. Люди, живущие по обе стороны границы, не общаются друг с другом. Их жизненный опыт так резко различается, что просто непонятно, о чем они могут говорить, случись им встретиться и остановиться поболтать. Как заметил Людвиг Витгенштейн: «Если бы львы умели говорить, мы бы их не поняли».

А вот еще одно различие. «Верхи» наслаждаются тем, что могут путешествовать по жизни куда душе угодно и выбирать пункт назначения в зависимости от того, какие удовольствия там можно получить. А «низших» временами просто «вышвыривают» из родных мест, которые они никогда не покинули бы по доброй воле. (В 1975 г. 2 млн вынужденных эмигрантов — беженцев получали помощь от комиссии ООН, специально созданной для этой цели. К 1995 г. их количество возросло до 27 млн). Если они не уезжают сами, то зачастую у них в буквальном смысле

«выбивают почву из-под ног», заставляя чувствовать себя так, будто они действительно покинули родные места. Если же они решают тронуться в путь, то пункт назначения за них чаще всего выбирает кто-то другой; редко выбор бывает приятным, и выбирается он не по этому критерию. Они могут оказаться в весьма неприятном для себя месте, которое с удовольствием бы покинули, но идти им больше некуда, поскольку нигде их не примут и не позволят разбить палатку.

Постепенно во всем мире отменяются въездные визы, но не паспортный контроль. Последний все еще нужен — возможно больше, чем когда-либо, — чтобы устранить неразбериху, которая может возникнуть из-за отмены виз: отделить тех, ради чьего удобства и беспрепятственного передвижения и были отменены визы, от тех, кто должен был остаться дома, кому вообще не следует путешествовать. Нынешнее сочетание ликвидации въездных виз с усилением иммиграционного контроля глубоко символично. Его можно рассматривать как метафорический образ формирующейся новой стратификации. Это прямо указывает на то, что сегодня почетное место среди факторов стратификации занимает «доступ к глобальной мобильности». В нем проявляется и глобальный аспект любых привилегий и обездоленности, даже если они носят местный характер. Некоторые из нас наслаждаются новой свободой передвижения без документов — *sans papiers*. Другим по этой же причине не позволяют оставаться на одном месте.

Возможно, сегодня все люди — скитальцы, реально или по ощущениям, но между опытом, который при этом получают те, кто находится, соответственно, на вершине и у основания пирамиды свободы передвижения, лежит труднопреодолимая пропасть. Модное понятие

«кочевники», применяемое без разбора ко всем, кто живет в постсовременную эпоху, во многом является ложным, поскольку затушевывает глубокие различия между этими двумя разновидностями опыта и сводит все сходство между ними к формальным внешним чертам.

На самом деле, миры, сложившиеся у каждого из двух полюсов — на вершине и в основании возникающей иерархии мобильности, — резко отличаются друг от друга и все меньше связаны друг с другом. В первом мире, мире глобальной мобильности, пространство утратило свои сдерживающие свойства и легко преодолевается как в его «реальной», так и в «виртуальной» ипостаси. Во втором мире — мире «прикрепленных к земле», тех, кому запрещено передвигаться и кто тем самым обречен пассивно переносить любые перемены, которые могут обрушиться на место их «прикрепления», — реальное пространство быстро сжимается. Эта обездоленность ощущается еще сильнее из-за того, что назойливые СМИ постоянно демонстрируют картинки покорения пространства и «*виртуальной* доступности» далеких мест, остающихся абсолютно недостижимыми в невиртуальной реальности.

При сжатии пространства останавливается и время. Обитатели первого мира постоянно живут в настоящем, проходя через череду эпизодов, герметически изолированных как от их прошлого, так и от будущего. Эти люди постоянно заняты, им вечно «не хватает времени», ведь ни один момент времени нельзя растянуть — это ощущение аналогично тому, когда время «заполнено до предела». Те же, кто прикован к противоположному миру, изнемогают под бременем избыточного, ненужного, бесполезного времени, которое им нечем заполнить. В их времени «никогда ничего не происходит». Они не «контролируют» время, но и оно их не контролирует, в отличие от предков,

живших «от звонка до звонка», подчиняясь безликому ритму рабочего дня. Они могут лишь убивать время, а время медленно убивает их.

Обитатели первого мира живут во *времени*, пространство для них ничего не значит, ведь любое расстояние они способны преодолеть за секунду. Именно этот опыт Жан Бодриар выразил в образе «гиперреальности», где виртуальное уже неотделимо от реального, поскольку и то, и другое в равной степени обладает или не обладает «объективностью», «экстравертностью» и «карающей силой», которые Эмиль Дюркгейм определил как признаки любой реальности. Обитатели второго мира, напротив, живут в *пространстве*, тяжелом, вязком, неприкасаемом, которое связывает время и не допускает людей к контролю над ним. Их время пустынно, в их времени «никогда ничего не происходит». Лишь виртуальное, телевизионное время структурировано, у него есть «график», а остальное время течет монотонно, оно приходит и уходит, ничего не требуя и, похоже, не оставляя следа. Его «осадок» появляется внезапно, незамеченный и неожиданный. Нематериальное и легковесное, эфемерное, лишенное всего, что могло бы наполнить его смыслом и тем самым придать силу тяжести, время не властно над абсолютно реальным пространством, в котором заперты обитатели второго мира.

Для жителей первого мира — все более космополитичного, экстратерриториального мира глобальных бизнесменов, менеджеров культуры, ученых — государственные границы открыты, подобно тому, как не существует их для товаров, капитала и финансов. Для обитателя второго мира стены иммиграционного контроля, законов о праве на жительство, политики «чистых улиц» и «нулевой терпимости» становятся все выше; рвы, отделяющие их от вожде-

ленных мест и лелеемого в мечтах избавления — все глубже, а мосты, при первой же попытке их пересечь, оказываются подъемными. Первые путешествуют, куда пожелают, получают от путешествия немалое удовольствие (особенно, если летают первым классом или частными самолетами), их уговорами и посулами побуждают к путешествиям, а когда они трогаются в путь, встречают улыбками и распростертыми объятиями. Вторые путешествуют тайком, зачастую нелегально; иногда им приходится выкладывать больше денег за место в переполненном четвертом классе вонючего видавшего виды судна, чем первым — за позолоту и роскошь бизнес-класса, и при этом их встречают хмурыми взглядами, а если не повезет, то и вовсе арестовывают по прибытии на место, а затем депортируют обратно.

Одни колесят по свету, другие смотрят, как мир проплывает мимо

Культурные/психологические последствия этой поляризации огромны.

В своей статье в «Гардиан» от 10 ноября 1997 г. Ларри Эллиот цитирует разглагольствования Дианы Койл, автора книги «Невесомый мир», об удовольствиях, которые дивный, новый, электронный, компьютеризованный, гибкий мир высоких скоростей и мобильности приносит ей лично: «Людам вроде меня, образованным и высокооплачиваемым экономистам и журналистам, не лишенным предпринимательского духа, вновь обретенная гибкость рынка труда в Великобритании дает потрясающие возможности». Но несколькими абзацами ниже тот же автор признает, что для «людей, не имеющих соответствующей квалификации, достаточного семейного капитала или сбережений, усиле-

ние гибкости оборачивается более интенсивной эксплуатацией со стороны работодателей...» Койл просит, чтобы те, кто купается в лучах нового, гибкого британского рынка труда, отнеслись серьезно к недавнему предостережению Лестера Турроу и Роберта Рейха об обострении опасности в США, связанной с углублением социальной пропасти между «богатой элитой, укрывающейся за охраняемыми стенами» и «безработным обнищавшим большинством»...

Агнес Хеллер вспоминает, как во время одного из дальних перелетов разговорилась с пожилой женщиной, сотрудницей международной торговой фирмы, знавшей пять языков и владевшей тремя квартирами в разных городах:

«Она постоянно мигрирует, ездит с места на место, туда и обратно. Она делает это в одиночку, не как член сообщества, хотя многие люди действуют таким же образом... Культура, к которой она принадлежит, — это не культура конкретного места; это культура времени. Это культура *абсолютного настоящего*.

Отправимся вместе с ней в одну из постоянных поездок из Сингапура в Гонконг, Лондон, Стокгольм, Нью-Гемпшир, Токио, Прагу и т. д. Везде она останавливается в отеле «Хилтон», съедает на обед один и тот же бутерброд с тунцом или, если пожелает, наслаждается китайской кухней в Париже, или французской — в Гонконге. Она пользуется одними и теми же моделями факсов, телефонов, компьютеров, смотрит одни и те же фильмы, обсуждает одни и те же проблемы с людьми одного и того же типа».

Агнес Хеллер, принадлежащая, как и многие из нас, к категории ученых-«глобтроттеров»*, без труда способна

* *Глобтроттер* — человек, много путешествующий по свету. — Примеч. пер.

поставить себя на место своей анонимной попутчицы. От себя же она добавляет: «Даже иностранные университеты не кажутся иностранными. Закончив лекцию, ты слышишь одни и те же вопросы, будь то в Сингапуре, Токио, Париже или Манчестере. Это уже не незнакомые места, но это и не дом». У попутчицы Агнес Хеллер нет дома, но нет у нее и ощущения бесприютности. Она чувствует себя непринужденно везде, где находится в данный момент. «К примеру, она знает, где расположен выключатель; меню ей известно заранее; она понимает жесты и намеки; она понимает других без дополнительных объяснений»⁶.

Джереми Сибрук вспоминает другую женщину, по имени Мишель, из соседнего квартала муниципальных домов:

«В пятнадцать лет ее волосы были сначала — рыжими, через день — светлыми, потом черными как вороново крыло, потом завиты в стиле «афро», потом заплетены в косички, после этого она носила одну косу, а затем остриглась почти наголо, оставив лишь короткий ежик. ... Губы у нее были сначала алые, потом лиловые, потом черные. Лицо — то белое, как у призрака, то персикового оттенка, то бронзовое, как у металлической статуи. Мечтая о побеге, в шестнадцать она ушла из дома к своему двадцатилетнему парню...

В восемнадцать она вернулась к матери с двумя детьми... Она сидела в той самой комнате, откуда сбежала три года назад; со стен на нее по прежнему глядели выцветшие фото вчерашних поп-звезд. Она сказала, что чувствует себя, как будто ей сто лет. Она испробовала все, что могла предложить жизнь. Больше ничего не осталось»⁷.

Попутчица Хеллер живет в воображаемом доме, но дом ей не нужен, а потому она не против того, что он воображаемый. Знакомая Сибрука совершает воображаемые побеги из дома, который терпеть не может из-за его

безнадежной реальности. Обе они пользуются виртуальностью пространства, оказывающей им разные услуги с диаметрально противоположными результатами. Пассажирке Хеллер она помогает избавиться от любых ограничений, связанных с реальным домом, — дематериализовать пространство, не подвергаясь дискомфорту и тревогам бездомного существования. Соседке Сибрука она позволяет легче переносить ужасающую и отвратительную власть дома, превратившегося в тюрьму, — разлагает время. Первый пример — это пример свободы в постсовременную эпоху. Второй пример странным образом напоминает скорее постсовременный вариант рабства.

Парадигма первого случая — это парадигма *туриста* (и абсолютно неважно, путешествует он по делу или ради удовольствия). Туристы превращаются в странников, ставя мечту о тоске по дому, сладкую и горькую одновременно, выше домашних удобств, потому что им так хочется; либо потому, что считают это наиболее разумной стратегией поведения в жизни «при сложившихся обстоятельствах», либо потому, что соблазнились подлинными или воображаемыми удовольствиями жизни в поисках новых ощущений.

Однако не все скитальцы находятся в пути, потому что предпочитают движение неподвижности и хотят побывать там, куда они направляются. Многие, возможно, предпочли бы отправиться в другое место или вообще отказаться от скитальческой жизни, если бы их спросили, но их мнения ведь никто не спрашивает. Если они находятся в пути, то потому, что «оставаться дома» в мире, скроенном по мерке туриста, воспринимается как унижение и изнурительный труд, да и в конечном итоге не кажется реальной перспективой. Они находятся в пути потому, что их подталкивала в спину — сначала лишив духовных свя-

зей с бесперспективным местом — сила соблазна или тяга к движению вперед, слишком мощная и загадочная, чтобы ей можно было сопротивляться. Они ни в коей мере не рассматривают свой удел как проявление свободы. Они — бродяги, они — погасшая луна, отражающая свет яркого туристского солнца и покорно следующая по орбите планеты; мутанты постсовременной эволюции, чудовища, выбракованные дерзким новым видом. Бродяги — отходы мира, посвятившего себя обслуживанию туристов.

Туристы остаются на месте или отправляются в путь, когда душе угодно. Они покидают место, увидев где-то еще сверкающие огни неиспользованных возможностей. Бродяги знают, что не задержатся в одном месте надолго, как бы им этого не хотелось, потому что, где бы они ни остановились, им нечего рассчитывать на радушный прием. Туристы переезжают с места на место, потому что считают доступный им мир (а это весь земной шар) неотразимо *привлекательным* — бродяги отправляются в путь, потому что доступный им (местный мир) выглядит невыносимо *негостеприимным*. Туристы путешествуют, потому что они этого *хотят*; бродяги — потому, что *у них нет другого подходящего выбора*. Бродяги, можно сказать, — это туристы поневоле; но понятие «турист поневоле» само себе противоречит. В какой бы степени стратегия «туристского» поведения ни определялась необходимостью в мире, где стены переносятся, а дороги движутся сами по себе, свобода выбора — кровь и плоть туриста. Отними ее, и вся привлекательность, поэзия, да и вообще сносность туристской жизни исчезнут без следа.

То, что сегодня превозносится как «глобализация», связано с мечтами и желаниями туристов. Другим ее следствием — *побочным*, но неизбежным — является превращение множества других людей в бродяг. Бродяги — это

путешественники, которым отказано в праве стать туристами. Им не дозволено ни оставаться на месте (ни одно конкретное место не гарантирует постоянства, окончания нежеланного движения), ни искать более подходящего места для жизни.

Освободившись от пространства, независимый капитал более не нуждается в мобильной рабочей силе (а его самый свободный, самый передовой и высокотехнологичный авангард практически не нуждается в рабочей силе *вообще*, как мобильной, так и неподвижной). Поэтому требования сломать последние оставшиеся барьеры на пути свободного движения денежных потоков или потоков товаров, приносящих деньги, сопровождаются требованиями о сооружении новых стен и новых рвов (называемых то «законами об иммиграции», то «законами о гражданстве»), препятствующих движению тех, кто лишился корней, физически или духовно⁸. *Зеленый свет туристам, красный — бродягам*. Насильственная локализация оберегает естественную селективность последствий глобализации. Часто упоминаемая и вызывающая все больше беспокойства поляризация мира и его населения — это не внешнее, постороннее, деструктивное вмешательство, «ставящее палки в колеса» процессу глобализации, а его следствие.

Не существует туристов без бродяг, и нельзя дать свободу туристам, не связав бродяг по рукам и ногам...

Вместе в радости и в горе

Бродяга — это «альтер эго» туриста. Кроме того, он самый страстный поклонник туриста — тем более, что ни сном, ни духом не осознает реальные неудобства турис-

тической жизни — ведь об этом не говорят. Спросите бродяг, как бы им хотелось жить, будь у них возможность выбирать, и в ответ вы получите весьма точное описание радостей туристической жизни «как их показывают по телевидению». У бродяг нет других представлений о хорошей жизни: ни альтернативной утопии, ни собственной политической платформы. Они хотят одного — чтобы им разрешили стать туристами, такими, как все остальные.... В непоседливом мире туризм — единственная приемлемая, гуманная форма непоседливости.

И турист, и бродяга — потребители, а потребители позднесовременной или постсовременной эпохи ищут новых ощущений и коллекционируют впечатления; их взаимоотношения с миром носят прежде всего *эстетический* характер: они воспринимают мир как пищу для чувств — матрицу возможного опыта (опыта не в смысле того, что с тобой происходит, а в смысле состояний, которые ты переживаешь), и ориентирами в нем для них служат пережитые впечатления. И тех, и других затрагивают — привлекают или отталкивают — обещанные ощущения. И те, и другие «смакуют» мир подобно тому, как искушенные знатоки искусства наслаждаются возможностью прийти в музей и остаться наедине с любимой картиной. Такое отношение к миру объединяет их, придает им сходство друг с другом. Это сходство позволяет бродягам сопереживать туристам, по крайней мере, сложившемуся у них образу туриста, и побуждает стремиться к их образу жизни; туристы же об этом сходстве изо всех сил стараются забыть, хотя, полностью подавить эту мысль не способны.

Как напоминает своим читателям Джереми Сибрук⁹, главный секрет нынешнего общества состоит в «формировании искусственно созданного и субъективно-

го ощущения неудовлетворенности», поскольку «самая страшная угроза» его основополагающим принципам возникает, «если люди готовы довольствоваться тем, что у них есть». Поэтому то, что человек уже имеет, замалчивается, принижается, преуменьшается путем назойливой, чересчур наглядной демонстрации экстравагантных приключений более зажиточных людей: «Богачи становятся объектами всеобщего восхищения».

Раньше в качестве героев для всеобщего восхищения и образцов для всеобщего подражания выставляли напоказ богачей, которые «сделали себя сами», чья жизнь была воплощением благотворных результатов упорного следования принципам трудовой этики и разума. Сегодня это уже не так. Объектом восхищения стало само богатство — богатство как индульгенция на самый изысканный и расточительный образ жизни. Важно то, *что ты можешь сделать*, а не то, *что надо делать* или *что делалось*. В образах богачей всеобщее восхищение вызывает их удивительная способность определять содержание собственной жизни, место жительства, спутников жизни и менять все это, когда заблагорассудится и без малейших усилий. Тот факт, что они, похоже, никогда не достигают «точки необратимости», что их перевоплощениям не видно конца, что их будущее всегда представляется более насыщенным и соблазнительным, чем прошлое; и, не в последнюю очередь, то, что единственной важной для них, судя по всему, является широта возможностей, которые открывает перед ними богатство. Действительно, этими людьми, похоже, движет эстетика потребления; проявление экстравагантного, даже фривольного эстетического вкуса, а не подчинение трудовой этике или сухим, предписывающим самоограничение, постулатам разума, искушенность, а не простой финан-

совый успех — вот что лежит в основе представлений об их величии и обуславливает их право на всеобщее поклонение.

«Бедные не имеют отдельной культуры, отличной от культуры богачей, — указывает Сибрук, — они вынуждены жить в том же мире, созданном для тех, у кого есть деньги. И их бедность усугубляется в периоды экономического подъема ничуть не меньше, чем в момент застоя или спада». Действительно, спад предвещает обнищание и оскудение ресурсов, но с экономическим ростом начинается еще более лихорадочная демонстрация потребительских чудес, только расширяющая пропасть между желаемым и действительным.

И туриста, и бродягу превратили в потребителей, но бродяга — это потребитель с *изъяном*. Бродяги не могут позволить себе утонченный выбор, который считается отличительным качеством потребителя; их потребительский потенциал столь же ограничен, как и их средства. Из-за этого недостатка их положение в обществе становится рискованным. Бродяги нарушают нормы и подрывают устои. Они портят все веселье одним своим присутствием, они не смазывают шестеренки общества потребителей, они ничем не способствуют процветанию экономики, превращенной в индустрию туризма. Бродяги бесполезны в том единственном смысле, который слово «полезность» имеет в обществе потребителей или обществе туристов. А раз они бесполезны, то и нежелательны. Будучи же нежелательными элементами, бродяги становятся наиболее подходящим объектом для поношения и козлами отпущения. Однако все их преступление состоит в желании быть такими же, как туристы, не имея при этом средств, чтобы, подобно туристам, удовлетворять все свои желания.

Но если туристы рассматривают их как нечто неприятное, неприличное, отвратительное, возмущаясь их нежелательным присутствием, то в основе этого лежат более глубокие причины, чем пресловутые «большие расходы» общества на поддержание жизни бродяг. Туристы в ужасе отшатываются от бродяг по той же причине, по какой бродяги смотрят на туристов снизу вверх, воспринимают их как своих гуру и идолов: в обществе путешественников, в обществе, которое само все время в пути, туризм и бродяжничество — это две стороны одной медали. Повторим, бродяга — это «второе я» туриста. Их разделяет тонкая, не всегда уловимая грань. Ее легко пересечь, даже не заметив... О, это отвратительное сходство, из-за которого так трудно понять, когда портрет превращается в карикатуру, а образцовый и здоровый представитель вида — в мутанта и чудовище.

Среди туристов есть «образцовые экземпляры», всегда готовые в путь и всегда уверенные, что движутся в правильном направлении, делают то, что нужно; этих «счастливых» туристов часто беспокоит мысль, что их приключения могут привести к бродяжничеству. Среди бродяг тоже есть «безнадежные», те, кто выбросил белый флаг и оставил все надежды когда-либо подняться до уровня туристов. Но между этими двумя крайностями находится немалая часть, а скорее всего — значительное большинство членов общества потребителей/путешественников, не уверенных в своем сегодняшнем положении и еще менее уверенных в том, что это положение сохранится и завтра. На дороге разбросано столько банановой кожуры, столько острых камней, о которые можно споткнуться. В конце концов, в большинстве случаев работа носит временный характер, акции не только растут, но и падают, профессиональные навыки девальвируются

и одних работников заменяют другие, более квалифицированные, ценности, которыми человек гордится и дорожит, мгновенно устаревают, изысканные кварталы приходят в упадок и «деградируют», принципы и цели, которым стоит следовать, появляются и исчезают... Как страхование жизни не спасает владельца полиса от смерти, так и «страховка» туристского образа жизни не гарантирует от превращения в бродягу.

Так что бродяга — это кошмар туриста, это сидящий в нем «бес», которого необходимо изгонять ежедневно и ежечасно. При виде бродяги туриста охватывает дрожь — не из-за того, что *представляет собой бродяга*, а из-за того, что *это может произойти с самим туристом*. Загоняя бродяг в подполье — запрещая нищим и бездомным появляться на улице, заключая их в далекие «запретные зоны» — гетто, требуя их высылки или изоляции — туристы отчаянно, хотя в конечном счете и безуспешно, пытаются избавиться от собственных страхов. Мир без бродяг — это мир, где Грегори Замза никогда не превратился бы в насекомое, а турист никогда бы не проснулся бродягой. *Мир без бродяг — это утопия общества туристов*. Многие политические явления в обществе туристов — скажем, помешательство на «законности и порядке», криминализацию бедности, периодические репрессии против «паразитов» и т. д. — можно объяснить как постоянные, упорные попытки вопреки всему возвысить социальную действительность до уровня этой утопии.

Но вся загвоздка в том, что жизнь туристов утратила бы половину своей привлекательности, если бы рядом не было бродяг — зримой иллюстрации того, как выглядит альтернатива этой жизни, единственная реальная альтернатива в обществе путешественников. Путь туриста

отнюдь не усыпан розами, а у тех роз, что попадают на этом пути, неприятно колючие стебли. Ради свобод туристического образа жизни приходится испытать немало трудностей, среди них самые серьезные, но не единственные — это невозможность замедлить бег, неопределенность любого выбора и риск, сопровождающий каждое решение. Кроме того, радость выбора теряет часть очарования, если ты *не можешь не выбирать*, а приключения уже не так захватывают дух, когда вся жизнь превращается в череду приключений. Так что туристу есть на что жаловаться. Всегда есть искушение попытаться найти другой, нетуристический путь к счастью. От него нельзя избавиться — можно только отодвинуть в сторону, и то ненадолго. Все тот же образ бродяги, заставляющий туристов содрогаться, делает их собственную жизнь сносной, превращает трудности в мелкие раздражители и позволяет отодвинуть искушение в самый дальний угол.

Так что парадоксальным образом жизнь туриста становится тем более сносной, даже приятной, чем более зримо маячит перед ним кошмарная альтернатива бродяжьего существования. В том же парадоксальном смысле туристы кровно заинтересованы, чтобы эта альтернатива выглядела как можно страшнее. Чем горше вкус бродяжьей судьбы, тем слаще путешествовать туристу. Чем незavidнее выглядит положение бродяги, тем приятнее ощущать себя туристом. Если бы бродяг не было, туристам пришлось бы их выдумать... Мир путешественников нуждается и в тех, и в других, причем и в тех, и в других вместе, связанных друг с другом гордиевым узлом: никто, похоже, не знает как его развязать, и ни у кого нет ни меча, ни желания, чтобы его разрубить.

Так что мы продолжаем движение: туристы и бродяги, полутуристы/полубродяги — именно ими большинство

из нас и является в нашем обществе потребителей/путешественников. Наши судьбы переплетены теснее, чем мы сами, поглощенные сиюминутными туристскими заботами, позволяем себе признать.

Однако разные судьбы и две разных модели жизненного опыта, порождаемые общими невзгодами, предполагают и наличие двух резко отличающихся взглядов на мир, на его недуги и способы излечить эти недуги — различных, но похожих в своих недостатках, имеющих общую тенденцию замалчивать многообразную взаимозависимость, лежащую в основе каждого из них, да и самого их противостояния.

С одной стороны, существует идеология, формулируемая теми, кто говорит от имени глобалистов, к их числу, по мнению Джонатана Фридмана, принадлежат «интеллектуалы, близкие к СМИ, сама журналистская интеллигенция, в некотором смысле — все, кто может позволить себе космополитическую идентичность»¹⁰, или, точнее, молчаливые допущения, придающие этой идеологии правдоподобие просто в силу отказа подвергать ее сомнению — тип допущений, которые Пьер Бурдьё недавно определил как *doxa* — самоочевидности, не обсуждаемые и не подлежащие обсуждению»¹¹.

С другой стороны, нельзя забывать и о действиях местных или насильственно локализованных, точнее — тех из них, кто пытается, и все с большим успехом, подставить свои политические паруса ветрам гнева, дующим из кругов *glebae adscripti*. Возникающее в результате столкновение нисколько не способствует преодолению раскола, а, наоборот, только углубляет его, уводя политическое воображение в сторону от подлинной причины невзгод, на которые обе стороны жалуются, хотя у них различны основания для жалоб.

Фридман насмехается над жаргоном космополитов, всеми этими модными терминами типа «промежуточности», «разъединенности», «трансцендентности» и т. д., которые якобы выражают не только опыт тех, кто уже «обрубил якоря», тех, кто «уже освободился», — но могли бы выразить и опыт тех, кто еще не обрел свободу, если бы не отвратительная и обескураживающая тяга последних к «привязке» и «поискам сути». В этом языке привилегии, включая и связанное с ними специфическое чувство неуверенности, представлены в качестве общей «человеческой природы» или «будущего, ожидающего нас всех». Но, задается вопросом Фридман:

«для кого подобное культурное «переселение» реально? В работе тех, кто преодолевает постколониальные границы, подобное перемещение — удел поэтов, художников, интеллектуалов: они придают ему объективность печатным словом. Но кто читает стихи, и какие еще разновидности идентификации встречаются в нижних слоях общественной действительности?... Одним словом, гибриды и теоретики гибридизации. Гибридизация — это порождение группы, самоопределяющейся и/или определяющей мир в подобных терминах не путем этнографического понимания, а путем самоидентификации... Глобальная, гибридно-культурная, элитарная сфера заполнена людьми, имеющими совершенно иной опыт существования в мире, связанном с международной политикой, наукой, СМИ и искусством».

Для глобалистов культурная гибридизация, возможно, явление созидательное, освобождающее от пут; но культурное бесправие местных таковым не назовешь; речь здесь идет о понятном, но досадном стремлении первых смешивать эти два явления и тем самым представлять разновидности собственного «ложного сознания» в качестве доказательства интеллектуальной неполноценности последних.

Но для этих последних — оставшихся местными скорее по велению судьбы, чем по собственному выбору — дерегуляция, распад общинных структур и насильственная индивидуализация судьбы несут в себе совсем иные беды и требуют совсем иной стратегии. Еще раз процитируем Фридмана:

«Логика, формирующаяся в кварталах, населенных людьми из низших классов, скорее всего, будет носить иной характер, чем логика высокообразованных представителей «индустрии культуры», путешествующих по всему миру... Городское гетто с бедным этнически смешанным населением — это среда, не содействующая быстрому появлению абсолютно новой гибридной идентичности. В периоды глобальной стабильности и/или экспансии проблемы выживания теснее связаны с территорией и созданием безопасного жизненного пространства. Преобладает классовая идентичность, идентичность местного гетто...»

Два мира, два представления о мире, две стратегии.

И что парадоксально: эта *постсовременная* действительность дерегулированного/приватизированного/потребительского, глобализующегося/локализирующегося мира находит лишь бледное, одностороннее и крайне искаженное отражение в *постмодернистских* произведениях. Гибридизация и поражение «сущности», провозглашаемые в постмодернистских апологиях «глобализующегося» мира, ни в коей мере не передают всю сложность и остроту противоречий, раздирающих этот мир. Постмодернизм — это одно из многих возможных толкований постсовременной реальности — всего лишь выражает кастовый опыт глобалистов — шумной, решительно заявляющей о себе, влиятельной, но относительно узкой группы экстерриториалов и «глобтроттеров». Он не учи-

тывает и не выражает иных разновидностей опыта, которые также являются неотъемлемой частью постсовременного пейзажа.

Вот что говорит выдающийся польский антрополог Войцех Буршта о результатах этого «нарушения связи», чреватого катастрофическими последствиями:

«Бывшие периферийные зоны явно пошли своим путем, что бы о них не говорили постмодернисты. И они [*постмодернисты*. — З.Б.] чувствуют свою беспомощность, столкнувшись с реалиями исламского фундаментализма, уродством трущоб Мехико или просто, когда черные самовольно вселяются в полуразрушенный дом в Южном Бронксе. Что делать с этим множеством «заметок на полях», они просто не знают...

Под тонким слоем пены глобальных символов, ярлыков и услуг кипит котел неизвестности, которая нас не слишком интересует и о которой нам, в общем, нечего сказать»¹².

«Периферийные зоны» из вышеизложенной цитаты следует понимать в самом общем смысле: как все бесконечное множество пространств, глубоко затронутых «глобальными символами, ярлыками и услугами», хотя и не с теми результатами, что предполагали глобалисты — апологеты этих понятий. В этом смысле «периферийные зоны» — это все, что окружает маленькие, духовно экстерриториальные, но физически отлично укрепленные анклавы «глобализованной» элиты.

Парадокс, о котором мы только что упомянули, влечет за собой еще один парадокс: эпоха «сжатия пространства/времени», беспрепятственной передачи информации и мгновенной связи — это еще и эпоха практически полного разрыва контакта между образованными элитами и народом. Первым («модернистам без модернизма», как

удачно выразился Фридман, т. е. не имеющим универсалистского проекта) просто нечего сказать последним; у элиты нет таких слов, что отозвалось бы в сознании народа эхом собственного жизненного опыта и жизненных перспектив.

Примечания

¹ Michael Benedikt. On cyberspace and virtual reality // *Man and Information Technology*. Stockholm: IVA, 1995. P. 42.

² Ricardo Petrella. Une machine infernale // *Le monde diplomatique*. 1997. Juin. P. 17.

³ Jeremy Seabrook. *The Race for Riches: The Human Cost of Wealth*. Basingstoke: Marshall Pickering, 1988. P. 15, 19.

⁴ Max Weber. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* / Trans. Talcott Parsons. London: George Allen & Unwin, 1976. P. 181.

⁵ Mark C. Taylor and Esa Saarinen. *Imagologies: Media Philosophy*. London: Routledge, n.d. Teleroitics 11.

⁶ Agnes Heller. Where are we at home? // *Thesis Eleven*. 1995. № 41.

⁷ Jeremy Seabrook. *Landscapes of Poverty*. Oxford: Blackwell, 1985. P. 59.

⁸ Вспомним, что именно необходимость спасти процветающую часть Европы от наплыва беженцев стала, по признанию тогдашнего госсекретаря США, решающим аргументом в пользу американского вмешательства в ходе войны в Боснии.

⁹ См.: Seabrook. *The Race for the Riches*. P. 163, 164, 168—169.

¹⁰ Эта и последующие ссылки на Джонатана Фридмана относятся к его статье «Global crises, the struggle for cultural identity and intellectual porkbarrelling: cosmopolitans versus locals, ethnics and nationals in the

era of de-hegemonisation» в кн. *Debating Cultural Hybridity* / ed. Pnina Werbner and Tariq Modood. London: Zed Books, 1997. P. 70—89.

¹¹ См.: Pierre Bourdieu. L'Architecte de l'euro passe aux aveux // *Le monde diplomatique*. 1997. Septembre. P. 19.

¹² Wojciech J. Burszta. *Czytanie kultury*. Łódź, 1996. P. 74—75.

Глава 5

Глобальный закон, местный порядок

В Соединенных Штатах, отмечает Пьер Бурдьё, ссылаясь на исследование французского социолога Лоика Вакана,

«филантропическое государство», основанное на моралистской концепции бедности, постепенно распадается на «социальное государство», предоставляющее минимальные гарантии защищенности средним классам, и все более репрессивное государство, борющееся с последствиями насилия, вызванного все более непрочным положением значительной части населения, особенно черного»¹.

Это лишь один пример — хотя, несомненно, особенно вопиющий и наглядный, как и большинство более общих американских вариантов, в том числе глобальных явлений — куда более широкой тенденции сводить остатки прежней политической инициативы, еще удерживаемые в слабеющих руках государства, к закону и порядку; к вопросу, на практике неизбежно оборачивающемуся упорядоченным — безопасным — существованием для одних и грозной, внушающей ужас мощью закона для других.

Цитированная статья, а затем и лекция на ее основе, прочитанная во Фрайбурге в октябре 1996 г., стала инстинктивной реакцией Бурдые на одно заявление, вычитанное им в газете во время одного из перелетов. Это заявление, сделанное мимоходом, почти небрежно, как говорят об очевидных и банальных истинах, и не вызвавшее никакого удивления ни у аудитории, ни у читателей, принадлежало Гансу Титмайеру, президенту Федерального банка Германии. «Главное сегодня, — сказал Титмайер, — создать условия, внушающие уверенность инвесторам». Затем он продолжил свою мысль, опять же кратко и без особой аргументации, как говорят о вещах, которые становятся очевидными для каждого, стоит лишь произнести их вслух, и объяснил, что это за условия. Чтобы придать инвесторам уверенности, поощрить их к вложению капиталов, — сказал он, — необходимы более жесткий контроль над общественными расходами, снижение уровня налогообложения, реформирование системы социальной защиты населения и «устранение неэластичности рынка труда».

Рынок труда отличается косностью; ему надо придать большую гибкость, то есть надо сделать его более податливым и послушным, чтобы его было легко мять и лепить, резать и катать; уступчивым ко всему, что бы с ним ни делали. Другими словами, «гибкость» рабочей силы означает превращение ее в экономическую переменную, которую инвесторы могут не учитывать, зная, что их собственные, и только их собственные действия предопределяют ее поведение. Однако если вдуматься, идея «гибкой рабочей силы» на практике отрицает то, что утверждает в теории. Или точнее, для воплощения постулатов этой концепции необходимо лишить объект этого воплощения той самой активности и универсальности, которые она стремится ему придать.

Концепция «гибкости», как и большинство идей, представляемых напоказ, не афиширует своего происхождения, связанного с общественными отношениями: того факта, что она требует перераспределения власти и предусматривает экспроприацию возможностей к сопротивлению у тех, чью «косность» необходимо преодолеть. Действительно, рабочая сила лишится «косности», «неэластичности», лишь перестав быть неизвестной величиной в расчетах инвесторов. То есть, в том случае, если она полностью утратит подлинную гибкость — способность не следовать шаблону, удивлять и в целом ограничивать свободу маневра инвесторов. «Гибкость» лишь претворяется «универсальным принципом» экономического здравого смысла, одинаково применимым к обеим сторонам, действующим на рынке труда: той, что предъявляет спрос, и той, что его удовлетворяет. За одним и тем же понятием скрывается диаметрально противоположность его смыслов по разные стороны этого водораздела.

Для той стороны, что предъявляет спрос, гибкость означает свободу беспрепятственно срывать с места, заведя новые тучные пастбища, предоставляя местным оставленным позади уборку своей последней стоянки от мусора и отбросов; а главное — возможность игнорировать любые соображения, кроме «экономически целесообразности». Однако то, что для одной стороны предъявляющий спрос представляется гибкостью, для тех, кто представляет другую сторону, оборачивается мощными, жестокими и неотвратимыми ударами неумолимой судьбы: возможность получить работу появляется и исчезает, исчезает мгновенно, едва появившись, их рвут в клочки и отменяют без предупреждения, поскольку без предупреждения меняются и правила игры при найме/увольнении, — и те, кто имеет или ищет работу, практически не способны повлиять на этот

процесс. Так что для соответствия стандартам гибкости — установленным для них теми, кто создает и отменяет правила, чтобы казаться «гибкими» в глазах инвесторов — положение людей, «поставляющих» на рынок рабочую силу, должно быть максимально косным и *негибким* — прямо противоположным «гибкости»: их свобода выбора, возможность согласиться или отказаться должна быть сведена к нулю, не говоря уже о навязывании собственных правил игры.

Асимметрия условий существования обеих сторон проявляется в разном уровне предсказуемости. Сторона, обладающая более широким спектром поведенческих возможностей, привносит элемент неуверенности в условия существования другой стороны, и другая сторона, чьи возможности выбора гораздо уже, а то и вообще отсутствуют, не способна ответить тем же. *Глобальный* характер свободы выбора инвесторов, противопоставляемый сугубо *местному* характеру ограниченной свободы выбора трудящихся, и обеспечивает эту асимметрию, которая, в свою очередь, превращается в основу господства первых над последними. Новая поляризация социального положения, возникшая в позднесовременную или постсовременную эпоху, определяется мобильностью или ее отсутствием. «Вершина» новой пирамиды экстерриториальна; более низкие ее ступени в разной степени подвергаются пространственным ограничениям, а основание на практике является полностью *glebae adscripti*.

Фабрики неподвижности

Штат Калифорния, — как подчеркивал Бурдые — превозносимый некоторыми европейскими социологами как настоящий рай с точки зрения свободы, тратит на строи-

тельство и содержание тюрем сумму, намного превосходящую его расходы на все высшие учебные заведения вместе взятые. Тюремное заключение — самая радикальная форма пространственного ограничения, кроме того, оно, судя по всему, является предметом большой озабоченности и находится в центре внимания управленческих структур, сформированных политической элитой, стоящей на переднем крае нынешнего процесса «сжатия пространства/времени».

Пространственные ограничения, изоляция разной степени строгости и жестокости во все времена были главным методом, применявшимся по отношению к категориям населения, не поддающимся ассимиляции, контролю, и вообще потенциально неблагонадежным. Рабов селили отдельно. Это же относилось и к прокаженным, умалишенным, представителям «чуждых» этнических и религиозных групп. Если им и позволялось покидать специально отведенные места, то они обязаны были носить символы своей пространственной принадлежности, чтобы каждый мог видеть: они — из другого пространства. Пространственное обособление, ведущее к насильственной изоляции, в течение многих столетий представляло собой почти подсознательную, инстинктивную реакцию на любые отличия, особенно отличия тех, чье включение в систему привычных социальных отношений было невозможно или нежелательно. Глубинный смысл пространственного обособления заключается в запрете или недопущении контактов с другими, а значит — насильственном отчуждении.

Отчуждение — главная функция пространственного обособления. Отчуждение приводит к ограничению, обесцвечиванию и сужению «образа других»: индивидуальные качества и обстоятельства, которые при каждо-

дневном контакте становятся яркой и зримой составляющей накопленного опыта, редко выходят на первый план, если эти контакты сведены к минимуму или вообще запрещены, тогда личное знакомство заменяется типизацией, а юридические категории, ограничивающие разнообразие, сводят на нет уникальность конкретных людей и случаев.

Как отмечает Нильс Кристи², если в повседневной жизни преобладает личное знакомство, то озабоченность получением компенсации за причиненный ущерб преобладает над стремлением к возмездию и наказанию виновного. Какой бы гнев ни вызывал у нас этот виновный, мы не станем применять к нему категории уголовного законодательства (и даже рассматривать этот конкретный случай с точки зрения изначально безличных категорий преступления и наказания, подпадающих под статьи закона), «потому что мы слишком хорошо его знаем... Для этой совокупности знаний юридические категории представляются слишком узкими». Сегодня, однако, мы живем среди людей, которых мы не знаем и большинство из которых вряд ли когда-нибудь узнаем. Было бы неестественным прибегать к сухой букве закона, если действие, вызвавшее наше возмущение, рассматривается само по себе, а не как действие «определенного типа». «Но это далеко не всегда происходит, если речь идет о незнакомом парне, только что поселившемся в доме напротив». Поэтому нет ничего удивительного в том, замечает Кристи, (хотя назвать это явление неизбежным тоже нельзя), что в современном обществе прослеживается четкая тенденция «считать преступными... все больше и больше действий, которые представляются нам нежелательными или просто сомнительными» и «карать тюремным заключением все большее количество подобных преступлений».

Можно сказать, что тенденция к ограничению разнообразия толкований при помощи юридических категорий и вытекающая из этого пространственная сегрегация различий чаще всего превращается в необходимость или, по крайней мере, набирает силу, когда в современных условиях реальная плотность населения намного превосходит его «моральную плотность», явно перерастая пределы способности человека к поддержанию близких контактов и масштаб системы межличностных отношений. Но можно подойти к этому явлению с другого конца и сделать вывод о том, что пространственное разделение, усиливающее подобное ограничение, само по себе является важным средством продления и фиксации взаимного отчуждения, в условиях которого ограничительные действия, как и ограничительное влияние уголовного законодательства, превращаются в необходимость. «Другие» — которых насильно поставили в условия «чуждости», охраняемой и поощряемой тщательным соблюдением пространственных границ, и которых держат на расстоянии, запрещая им как спорадические, так и регулярные контакты — при этом существуют в образе «незнакомцев», полностью лишенных индивидуальной, личной уникальности — а ведь только она способна предотвратить формирование стереотипов, тем самым перевешивая и смягчая ограничительное действие законодательства, в том числе уголовного.

Далеким (пока) идеалом здесь является полная изоляция, позволяющая превратить «другого» в простой пример карающей силы закона. Впрочем, к этому идеалу уже приближаются американские ультрасовременные тюрьмы, вроде тюрьмы «Пеликан Бэй» в Калифорнии, штате, где — по краткому определению Нильса Кристи³ — «предпочтение отдается росту и активности» и где соответст-

венно планируется к началу XXI в. иметь по восемь заключенных на каждую тысячу жителей. Согласно восторженному описанию в «Лос-Анджелес Таймс» от 1 мая 1990 г., тюрьма «Пеликан Бэй» «полностью автоматизирована и задумана таким образом, чтобы заключенные практически не имели личного контакта с охранниками или другими заключенными». Большую часть времени заключенные проводят в «камерах без окон, построенных из прочных железобетонных блоков... Они не работают в тюремных мастерских; у них нет возможности заниматься физкультурой; они не общаются с другими заключенными». Даже охранники «заперты в застекленных смотровых будках и общаются с заключенными через систему репродукторов», так что последние видят их редко, а то и не видят вообще. Единственной задачей охранников остается следить за тем, чтобы заключенные были все время заперты в камерах — чтобы они никого не видели и их никто не видел, чтобы они ни с кем не общались. Если бы заключенным не позволяли есть и испражняться, такие камеры было бы трудно отличить от гробов.

На первый взгляд проект «Пеликан Бэй» представляется модернизированным, ультрасовременным, высокотехнологичным вариантом «Паноптикона»; идеальным воплощением мечты Бентама о тотальном контроле при помощи тотального наблюдения. Однако, если присмотреться повнимательнее, становится ясным, что первое впечатление было поверхностным.

Контроль «паноптиконного типа» выполнял важную функцию; подобные учреждения замышлялись в первую очередь как *исправительные дома*. Цель исправления заключалась якобы в том, чтобы заставить заключенных сойти с пути к моральному падению, на который те вступили по собственной воле или оказались не по своей ви-

не; выработать у них привычки, позволяющие вернуться в объятия «нормального общества»; остановить их «моральное разложение», побороть в них лень, неумелость, неуважение или равнодушие к общественным нормам — все недостатки, в совокупности лишаящие заключенных способности к «нормальной жизни». То были времена трудовой этики — когда труд, усердный и постоянный труд, рассматривался одновременно как рецепт угодной богу, добродетельной жизни и основное правило общественного порядка. Но в эти же времена число крестьян и ремесленников, не способных свести концы с концами, неудержимо росло, а машины, лишившие их средств к существованию, простаивали в тщетном ожидании, что ими займутся покорные и послушные руки. Так что на практике идея исправления сводилась к тому, чтобы заставить заключенных трудиться — делать полезную, прибыльную работу. В образе «Паноптикона» Бентам обобщил опыт разрозненных, но повсеместных попыток решить реальные, вызывающие раздражение и тревогу проблемы, с которыми столкнулись в эпоху нового времени пионеры индустриального производства с его рутинным, монотонным, механическим ритмом.

В момент разработки проекта «Паноптикона» многие рассматривали недостаточное «усердие» работников как главное препятствие на пути социального прогресса. Первые предприниматели жаловались на нежелание будущих рабочих «капитулировать», воспринять ритм заводского труда; в тех условиях смысл «исправления» заключался в том, чтобы преодолеть это сопротивление и одновременно придать «капитуляции» более пристойный характер.

Подведем итог: при всех других непосредственных задачах учреждения для изоляции людей «паноптиконного типа» являлись в первую очередь *фабриками по производ-*

ству дисциплинированной рабочей силы. Зачастую они к тому же позволяли немедленно решить эту главную задачу — заключенных сразу же заставляли трудиться, в особенности выполнять работу, к которой «свободные труженники» меньше всего стремились и вряд ли стали бы делать по собственной воле, какое бы вознаграждение им за это ни сулили. Что бы ни говорилось об их долгосрочных целях, большинство институтов «паноптикумного типа» были *работными домами*.

Те, кто замыслил и создавал исправительный дом, основанный в Амстердаме в начале XVII столетия, намеревались «производить» там «здоровых людей, умеренных в еде, привычных к труду, стремящихся получить хорошую работу, способных «крепко стоять на ногах» и «богобоязненных». Был составлен длинный перечень видов ручного труда, которым будущим заключенным следовало заниматься, чтобы у них выработались подобные качества: например, сапожное дело, изготовление записных книжек, перчаток и сумок, каймы для оторочки воротников и плащей, фланелевых и шерстяных тканей, льняных скатертей и гобеленов, вязание, резьба по дереву, плотницкое и стеклодувное ремесло, плетение корзин и т. д. На практике же производственная деятельность в этом доме, после нескольких робких попыток следовать первоначальному плану, свелась к обработке бразильской древесины, что первоначально планировалось исключительно как метод наказания — чрезвычайно примитивной и изнурительной работы, за которую вряд ли кто-то бы взялся добровольно, если бы не режим принудительного труда, существовавший в исправительном доме⁴.

Вопрос о том, удалось ли вообще исправительным домам в их многочисленных вариациях выполнить заявленную задачу «реабилитации», «морального исправления»,

«возвращения заключенным способности жить в обществе» с самого начала вызывал большие споры и по сей день остается неясным. Среди исследователей преобладает мнение, что при самых благих намерениях существовавшие в этих учреждениях условия изоляции и система тщательного наблюдения только *препятствовали* «реабилитации». Предписания трудовой этики плохо сочетаются с принудительным режимом тюрьмы, какое бы название она ни носила.

Выдающийся норвежский специалист по социологии права Томас Матисен высказывает глубоко обдуманное, аргументированное и подкрепленное серьезными исследованиями мнение о том, что «в течение всей своей истории на практике тюрьма никогда не обеспечивала реабилитации, «заключение никогда не приводило к «возвращению людей в общество»⁵. Вместо этого она *отюремливала* заключенных (термин принадлежит Дональду Клеммеру)⁶ — то есть поощряла или вынуждала их усваивать и воспринимать привычки и обычаи, типичные для пенитенциарной среды, и только для нее; поэтому резко отличающееся от поведенческих моделей, формируемых культурными нормами, существующими в мире за тюремными стенами. «Отюремливание» было прямой противоположностью реабилитации» и главным препятствием на «пути назад в общество».

Проблема, однако, заключается в том, что, в отличие от эпохи, когда под аплодисменты просвещенной публики в Амстердаме открылся исправительный дом, сегодня вопрос «реабилитации» не столько дискуссионен, сколько неактуален. Многие криминологи еще какое-то время, вероятно, будут «ломать копыя» из-за старых, но по-прежнему нерешенных вопросов идеологии уголовного наказания. В мышлении современных практиков пенитенциарной системы важнейшее изменение заключается как раз в отсут-

ствии искренних или лицемерных «деклараций о реабилитационных намерениях».

Усилия, направленные на то, чтобы вернуть заключенных к труду, могут увенчаться или не увенчаться успехом, но они имеют смысл лишь тогда, когда работа их ждет, и импульс подобным усилиям придает тот факт, что эта работа ждет их с нетерпением. Сегодня первое условие представляется не слишком реальным, а второе — попросту отсутствует. Капитал, некогда готовый задействовать трудовые ресурсы во все возрастающих масштабах, сегодня нервно реагирует на известия о сокращении безработицы; через своих биржевых «уполномоченных» он «вознаграждает» компании, сокращающие персонал и рабочие места. В таких условиях заключение — уже не «школа труда» и не вынужденный, принудительный метод увеличения числа занятых в производстве, когда обычный и предпочтительный «добровольный» путь не срабатывает; ныне — это способ вовлечь в «промышленную орбиту» самые неуступчивые и буйные категории «бесхозных людей». В современном мире это скорее *альтернатива занятости*, способ избавиться или нейтрализовать значительную часть населения, никому не нужную в роли производителей, а работы, к которой их можно было бы «вернуть», просто нет.

Сегодня на повестке дня стоит вопрос об *искоренении* привычки к постоянному, ежедневному, равномерному и регулярному труду. Что еще может означать лозунг о «гибкости рабочей силы»? Рекомендуемая стратегия заключается в том, чтобы заставить труженика *забыть*, а не *усвоить* те уроки, которые в старые добрые времена индустриального «современного общества» преподавала ему трудовая этика. Трудовые ресурсы способны приобрести подлинную «гибкость» лишь при условии, что сегодняш-

ние и завтрашние работники утратят воспитанную у них привычку к работе изо дня в день; посменно, на одном и том же рабочем месте и в обществе одних и тех же сослуживцев; если у них не возникнет привычка к конкретному месту работы, и уж, конечно, только при условии, если они не захотят (или им не позволят) выработать профессиональное отношение к работе, выполняемой в данный момент, и откажутся от нездорового стремления фантазировать о «собственнических» правах и обязанностях на свою работу.

На ежегодном заседании, проходившем в 1997 г. в Гонконге, руководство Международного валютного фонда и Всемирного банка подвергло жесткой критике проводимую во Франции и Германии политику, призванную вернуть к работе как можно больше людей. Они рассматривали эти усилия как препятствие «гибкости рынка труда». Чтобы добиться последней, отметили они, необходимо пересмотреть «слишком благожелательные» законы о защите рабочих мест и зарплаты, устранить все «искажения», стоящие на пути «чистой» конкурентоспособности, и сломить сопротивление трудящихся об отмене завоеванных ими «привилегий»⁷ — т. е. всего, что связано со стабильной занятостью и защитой их рабочих мест и доходов. Другими словами, необходимо создать новые условия, благоприятствующие формированию привычек и взглядов, диаметрально противоположных тем, что предписывала трудовая этика и обеспечивали институты «паноптиконного типа», призванные воплотить эти этические принципы в жизнь. Трудящиеся должны «разучиться» — забыть выработанную у них преданность труду и приобретенную эмоциональную привязанность к месту работы, личную заинтересованность в процветании.

В этом контексте идея о том, что тюрьма «Пеликан Бэй» — это преемник работных домов начального периода индустриализации, опыт, амбиции и нерешенные проблемы которого отразились в проекте «паноптикума», выглядит куда менее убедительной. За бетонными стенами тюрьмы «Пеликан Бэй» не ведется никакого производительного труда. Не предусмотрено и профессиональное обучение: в проекте тюрьмы просто отсутствуют помещения для таких занятий. Для заключенных «Пеликан Бэй» — это вообще не школа, даже не школа чисто формальной дисциплины. Весь смысл «Паноптикона», главная цель постоянного наблюдения заключалась в том, чтобы заключенный совершал определенные движения, следовал определенному порядку, делал определенные вещи. Но то, чем заключенные «Пеликан Бэй» *занимаются* в своих одиночных камерах, никого не волнует. *Главное, что они просто находятся в камерах.* Тюрьма «Пеликан Бэй» разрабатывалась не в качестве фабрики по выработке дисциплины или воспитания дисциплинированной рабочей силы. Она замышлялась как *фабрика изоляции*, фабрика по «производству» людей, привыкших к состоянию *изоляции*. Клеймом отверженности в эпоху пространственно-временного сжатия является *неподвижность*. Именно технология *обездвиживания* в тюрьме «Пеликан Бэй» доводится почти до совершенства.

Если концлагеря служили лабораториями тоталитарного общества, где изучалось, до какой степени можно подчинять и закрепощать людей, а работные дома «паноптиконного типа» служили лабораториями индустриального общества, где проводились эксперименты, до какой степени можно довести рутинность действий человека, то тюрьма «Пеликан Бэй» — это лаборатория «глобализованного» (или «планетарного», по определе-

нию Альберто Мелуччи) общества, где испытываются технологии и исследуются пределы пространственного ограничения «отбракованных элементов» и «отходов» процесса глобализации.

Тюрьмы «постисправительной» эпохи

Помимо вопроса о реабилитационных функциях, в своей книге «Тюрьма под судом» Томас Матисен тщательно исследует и другие распространенные утверждения, призванные оправдать тюремное заключение как метод решения острых и пагубных социальных проблем. Он рассматривает теории о превентивной роли тюрем (как в общем, так и в индивидуальном смысле), о лишении преступника возможности совершить преступление, об их устрашающем эффекте, о простом возмездии и находит, что все они без исключения логически небезупречны и не подтверждаются эмпирически. Таким образом, на сегодняшний день не существует никаких данных, не говоря уже об обоснованных доказательствах, подтверждающих тот факт, что тюремная система действительно способна играть роль, приписываемую ей в теории, или что ее попытки играть эту роль приводят хоть к сколько-нибудь успешным результатам — тогда как конкретные меры, рекомендуемые или предусматриваемые подобными теориями, не способны пройти простейший тест на справедливость, этическую обоснованность и целесообразность. (К примеру: «на каких моральных основаниях можно наказывать кого-то, и возможно жестоко наказывать, ради того, чтобы другие не совершали подобных же действий?») С точки зрения этики этот вопрос тревожит еще сильнее из-за того, что «большинство из тех,

кого мы караем, — это бедные и униженные люди, которым нужно скорее помогать, чем наказывать»⁸).

Число заключенных или ожидающих приговора к тюремному заключению быстро растет во всех странах. Почти повсеместно строятся все новые тюрьмы. Государственные расходы на «силы правопорядка», прежде всего на полицию и тюремную систему, увеличиваются по всему миру. А главное, в процентном отношении ко всему населению число людей, вступивших в прямой конфликт с законом и подлежащих тюремному заключению растет такими темпами, что речь идет уже не просто о количественных изменениях, а о «чрезвычайно возросшем значении институционального решения как элемента политики в области борьбы с преступностью» и даже о том, что многие правительства, при широкой поддержке общественного мнения, действуют исходя из тезиса о «возросшей необходимости дисциплинарных мер в отношении значительных сегментов и групп населения»⁹.

Другими словами, широкое применение тюремного заключения в качестве меры наказания говорит о том, что новые многочисленные слои населения признаны угрозой для общества, и насильственное исключение этих людей из сферы социальных отношений путем заключения в тюрьму рассматривается как эффективный метод нейтрализации угрозы или успокоения общественности, встревоженной этой угрозой.

В процентном отношении ко всему населению количество людей, отбывающих тюремные сроки, в разных странах различно: здесь проявляется своеобразие культурных традиций, исторически сложившейся теории и практики уголовного преследования, — но быстрый рост этой цифры, судя по всему, является общим явлением для «наиболее развитых» стран мира. Согласно последним

данным, тщательно собранным Нильсом Кристи, с большим отрывом лидируют Соединенные Штаты (хотя к их рекордному показателю быстро приближается Российская Федерация): в общей сложности 2% населения США находятся под контролем пенитенциарной системы. Темпы роста также впечатляют. В 1979 г. в США количество заключенных на каждые 100 000 населения составляло 230 человек, а на 1 января 1997 г. — уже 649 человек (в некоторых местах, конечно, этот процент гораздо выше: так, в вашингтонском районе Анакостия, где проживает большая часть беднейшего населения города, половина мужчин в возрасте от 16 до 35 лет в настоящий момент либо ожидают суда, либо сидят в тюрьме, либо освобождены условно)¹⁰. Пока ни одна другая страна по этому показателю не может сравниться с Соединенными Штатами, но ускорение темпов роста количества людей, отбывающих тюремное заключение, наблюдается почти повсеместно. Даже в Норвегии, где крайне неохотно прибегают к тюремному заключению, эта цифра, составлявшая в начале 1960-х гг. менее 40 человек на 100 000 жителей, сегодня увеличилась до 64 человек. В Голландии за тот же период процент заключенных увеличился с 30 до 86 человек на 100 000 жителей, в Англии и Уэльсе сегодня он достигает 114 заключенных на 100 000 населения, вследствие чего в стране «необходимо каждую неделю вводить в эксплуатацию новую тюрьму, чтобы справиться с нескончаемым потоком осужденных»¹¹.

Поскольку рост количества заключенных не ограничивается некоей отдельной группой стран, а является практически всеобщим явлением, было бы, вероятно, неправильно — а то и просто бессмысленно — объяснять его политикой того или иного государства или идеологией и практикой той или иной политической партии (хотя

столь же неверно было бы и отрицать определенное воздействие подобной политики на ускорение или замедление роста в этой сфере). К тому же мы не имеем данных о том, что вопрос о тюрьме как главном инструменте решения досадных и тревожных проблем играл где-либо серьезную роль в предвыборных баталиях. Конкурирующие силы, даже если по другим актуальным вопросам их позиции диаметрально расходятся, в данном вопросе демонстрируют полное единодушие. Единственное, о чем они публично проявляют озабоченность, — это стремление убедить избирателей, что именно они будут добиваться еще решительней и безжалостней, чем их политические противники, чтобы преступники «сидели в тюрьме». Таким образом, напрашивается вывод, что причины обсуждаемого роста имеют надпартийный и надгосударственный характер — глобальный, а не локальный (будь то в территориальном или культурном отношении). Вероятнее всего, эти причины самым непосредственным образом связаны с широким спектром преобразований, объединенных под общим названием «глобализация».

Одной из очевидных причин вышеупомянутого роста является тот факт, что вопросы, относящиеся к категории «законности и порядка», можно очень эффективно «раскрутить» как проблемы, вызывающие обеспокоенность в обществе, особенно в тех случаях, когда эта обеспокоенность находит отражение в ученых и авторитетных истолкованиях «социальных недугов» и политических программах, обещающих их излечить. В книге «Постсовременная эпоха и причины недовольства» («Полити Пресс», 1997) я утверждал следующее: неважно, прав был или ошибался Зигмунд Фрейд, предполагая, что главной причиной психических заболеваний и душевных мук в «классическую» эпоху современной цивилизации

был отказ от существенной части личной свободы в обмен на коллективные гарантии определенной степени безопасности, — сегодня, на позднем или постсовременном этапе развития нашего общества, распространенное ощущение страха и беспокойства порождается противоположной тенденцией: готовностью в немалой степени отказаться от безопасности в обмен на ликвидацию, одного за другим, ограничений, сковывающих свободу выбора. Именно эти ощущения находят выход в (или направляются в русло) озабоченности законностью и порядком.

Чтобы полностью осмыслить этот важный процесс «переноса обеспокоенности», необходимо воссоединить то, что разъединила лингвистика в своем, порой чрезмерном, стремлении к разграничению и уточнению. Эмоциональное/смысловое единство, лежащее в основе таких, якобы разных — ведь лингвистически они различны — понятий, как защищенность, безопасность и определенность, в английском языке, к примеру, прослеживается с трудом, но немец улавливает его гораздо легче из-за довольно нетипичной для этого языка сжатости понятия *Sicherheit*, обозначающего «безопасность»: в нем объединяются все три эти значения (безопасность, защищенность и определенность), и тем самым отрицается их самостоятельность по отношению друг к другу, воспринимаемая в английском языке как нечто само собой разумеющееся.

Если результатом стремления к порядку — безопасности, защищенности и определенности — в период новой и новейшей истории стала уязвимость понятия *Freiheit* (свобода), то *Sicherheit* — главная жертва расширения индивидуальной свободы в «позднесовременную» эпоху. А поскольку мы едва ли смогли бы разделить три причины беспокойства, если бы не три слова, предполагающие нали-

чие разных семантических объектов, не удивительно, что сокращение возможностей для несвязанного с риском, то есть *безопасного* выбора, и растущая неясность правил игры, придающая *неопределенность* большинству ходов, а тем более — результатам этих ходов, оборачиваются ощущением угрозы *безопасности* — сначала физической, а затем безопасности имущества — этого пространственного продолжения физического тела. В мире, где безопасности и определенности становится все меньше, возникает сильное искушение укрыться в «тихой гавани»; поэтому защита территории — «безопасный дом» — превращается в универсальный ключ для всех дверей, которые, как нам представляется, необходимо запретить, чтобы отвести тройную угрозу от нашего духовного и материального комфорта.

Вокруг стремления к безопасности накапливается немало напряженности. А там, где есть напряженность, смысленные инвесторы и практичные маклеры несомненно обнаружат возможность заработать политический капитал. Апелляции к страхам, связанным с безопасностью, носят столь же надклассовый и надпартийный характер, как и сами эти страхи. Может быть, действующим политикам и людям, стремящимся к политическому влиянию, просто повезло, что реальные проблемы незащищенности и неопределенности вылились в озабоченность вопросом безопасности; ведь если политики проявляют столь шумный и энергичный интерес к третьему вопросу, то можно предположить, что и с первыми двумя они также намерены что-то делать.

Действительно, удачное совпадение, ведь первые две причины обеспокоенности просто неустранимы. Правительства не могут всерьез обещать ничего, кроме усиления «гибкости рынка труда» — то есть, в конечном итоге, роста незащищенности, причем незащищенности еще более

болезненной и калечащей. Ответственные правительства не могут обещать и определенности: уже предрешенным считается тот факт, что им придется поступиться свободой действий, отдав ее на откуп «рыночным силам» с их пресловутой сумасбродностью и непредсказуемостью, — приобретя экстерриториальность, эти силы теперь находятся далеко за пределами досягаемости безнадежно «местных» правительств. Однако возможность делать что-то или изображать кипучую деятельность в сфере борьбы с преступностью, угрожающей личной безопасности людей, вполне реальна, — к тому же это великолепный предвыборный ход. На *Sicherheit* это вряд ли сильно повлияет, но число голосующих за вас избирателей несомненно возрастет.

Безопасность: реальные средства, призрачная цель

Сводя сложную проблему *Sicherheit* лишь к вопросу личной безопасности, можно извлечь и другие политические выгоды. Любые меры в области безопасности выглядят ярче, зрелищнее, «телевизионнее», чем шаги, направленные на излечение глубинных, но — по этой же причине — не столь очевидных и, как представляется, менее конкретных причин заболевания. Борьба с преступностью, как и сама преступность, особенно преступления против личности и частной собственности — это отличное, интересное, необычайно зрелищное представление. Продюсеры и сценаристы, работающие в СМИ, отлично это понимают. Если судить о состоянии общества по его драматизированным изображениям (что большинство из нас и делает, независимо от того, готовы ли мы признать — в этом другим или самим себе), — тогда не только коли-

чество преступников по отношению к «нормальным людям» покажется куда выше, чем процент населения, реально находящийся в тюрьме, а весь мир окажется разделенным на преступников и стражей порядка, но и сама человеческая жизнь сведется к узкой грани между угрозой физического насилия и отпором возможных посягательств.

Следствием этого является страх, подстегивающий самого себя. Озабоченность личной безопасностью, сверх всякой меры раздутая из-за реальной незащищенности и психологической неопределенности, все больше подавляет другие отчетливые страхи, все больше оставляет в тени другие причины для беспокойства. Правительства могут вздохнуть с облегчением: никто, или почти никто не потребует от них реальных действий в вопросах, которые они просто не способны охватить и удержать под контролем — слишком коротки и слабы их руки. Никто не обвинит правительства в том, что они бездействуют в конкретных вопросах, беспокоящих людей — ведь по телевидению ежедневно показывают документальные репортажи и драматические постановки, «документальные сюжеты» и тщательно отрежиссированные драмы, замаскированные под документальные репортажи, где рассказывается о новом, усовершенствованном вооружении полиции, о высокотехнологичных тюремных замках, сигнализации против взломщиков и автоугонщиков, о молниеносных и сокрушительных ударах по преступности, о доблестных сотрудниках служб безопасности и детективах, рискующих жизнью ради нашего спокойствия.

Строительство новых тюрем, разработка новых кодексов, расширяющих количество правонарушений, карающихся тюремным заключением, и вводящих более длительные сроки этого заключения — все эти меры уси-

ливают популярность правительств; правительства выглядят жесткими, сильными и решительными, а главное, создается впечатление, что они «что-то делают» не только в конкретном вопросе личной безопасности граждан, но, косвенно, и в вопросах защищенности и определенности; причем делают они это в высоко-драматичной, осязаемой и зримой, такой убедительной форме.

Эффектность, то есть универсальность, жесткость и своевременность карательных операций важнее, чем их эффективность, которая из-за вялого общественного внимания и недолгой общественной памяти вообще редко подвергается обсуждению. Она важнее, чем реальное количество раскрытых и выявленных преступлений; хотя, конечно, время от времени полезно привлекать общественное внимание к какой-либо новой разновидности преступлений, особенно вопиющих, отвратительных и распространенных, и начать новую кампанию по борьбе с преступностью, поскольку тогда все мысли людей занимают опасности, связанные с преступлениями и преступниками, не давая им задуматься, почему несмотря на все полицейские меры, обещающие желанную *Sicherheit*, они чувствуют такую же незащищенность, растерянность и страх, как и прежде.

Тенденция к усилению тревог, связанных с эндемической незащищенностью и неуверенностью в завтрашнем дне, не просто удачно совпали по времени в позднесовременную/постсовременную эпоху, в одну всепоглащающую заботу — заботу о личной безопасности, и возникновение новых реалий государственной политики, особенно урезанного варианта государственного суверенитета, характерного для периода «глобализации».

Когда все внимание на местах фокусируется на «безопасности среды» и всех вытекающих отсюда реальных или

мнимых вопросах, достигается то, чего именно хотят от национальных правительств «рыночные силы», ныне действующие в глобальном, а значит — экстерриториальном масштабе (ничего другого они этим правительствам и не позволяют делать). В мире глобальных финансов правительствам суверенных государств фактически отводится роль гипертрофированных полицейских участков; количество и хорошая подготовка полицейских патрулей, очищающих улицы от нищих, попрошаек и воришек, а также прочность тюремных стен занимают важное место среди факторов, «внушающих уверенность инвесторам», а значит, и в вопросах о вложении капиталов в данную страну или, наоборот, переводе их в другое место. Умелое выполнение работы полицейского — это лучшее (а возможно, и единственное), что правительство государства может сделать, чтобы убедить «кочующий» капитал вложить средства в благосостояние своих граждан; поэтому кратчайшим путем к экономическому процветанию страны, а если повезет, то и к благожелательному настроению избирателей, является публичная демонстрация решимости и навыков государства при выполнении полицейских функций.

В результате забота о «порядке в государстве», некогда сложная и комплексная задача, отражавшая многообразные амбиции государства, широту и многоаспектность его суверенитета, сужается до одного-единственного направления — борьбы с преступностью. При этом почетное, даже ведущее место в рамках этой задачи отводится тюремному заключению. Тот факт, что борьба с преступностью занимает центральное место, еще не объясняет сегодняшний «тюремный бум»; в конце концов, существуют и другие способы дать отпор реальным или мнимым угрозам личной безопасности граждан. Кроме того, сажать в тюрьмы все больше людей и на более долгие сроки — это метод, до сих

пор ничем не доказавший свою наибольшую эффективность по сравнению с другими. Значит можно предположить, что выбору тюрьмы в качестве самого убедительного доказательства, что государство «не сидит сложа руки», что его слова не расходятся с делом, способствуют какие-то другие факторы. Позиционирование тюремного заключения в качестве ключевой стратегии в борьбе за безопасность граждан означает подход к проблеме в «современном духе», разговор на языке, легко понятном и вызывающем общеизвестные ассоциации.

Сегодняшняя жизнь строится вокруг иерархии глобального и местного, где глобальная свобода передвижения — это знак повышения социального статуса, взлета и успеха, а неподвижность источает отвратительный запах поражения, неудавшейся жизни, заброшенности. Понятия «глобальный» и «местный» все больше приобретают характер противоположных ценностей (при этом оба они имеют первостепенное значение), ценностей наиболее привлекательных или отталкивающих, занимающих центральное место в жизни человека — в его мечтах, кошмарах и борьбе. Говоря о том, чего они хотят добиться в жизни, люди чаще всего упоминают о мобильности, о свободном выборе места жительства, путешествиях, возможности повидать мир; их страхи связаны с понятиями ограниченности передвижения, отсутствия перемен, недоступности мест, куда другие попадают без малейших усилий, удовлетворяя свой интерес и получая удовольствие. «Хорошо жить» — значит находиться в движении, а точнее, ощущать приятную уверенность, что вы можете с легкостью покинуть любое место, где вам не хочется больше оставаться. Свобода теперь означает прежде всего свободу выбора, а выбор явно приобрел пространственное измерение.

В эпоху сжатия пространства/времени вдали маячит столько потрясающих неизведанных ощущений, что понятие «дом», не потеряв своей привлекательности, вызывает особое наслаждение в форме горько-сладкого на вкус ощущения тоски по дому. В своем зримом воплощении из камня и извести «дом» порождает неприятие и бунт. Если дом заперт снаружи, если возможность «выйти на улицу» существует лишь в отдаленной перспективе или отсутствует вообще, он превращается в тюрьму. Вынужденная неподвижность, когда ты привязан к одному месту и не имеешь права отправиться куда-то еще, рассматривается как самая ужасная, жестокая и отвратительная из всех возможных ситуаций; больше всего здесь оскорбляет именно запрет на передвижение, а не реальное мучительное желание отправиться в путь. Запрет на передвижение — самый яркий символ бессилия, неполноценности и боли.

Неудивительно поэтому, что идея тюремного заключения, являясь одновременно самым эффективным способом нейтрализации потенциально злонамеренных элементов и самым жестоким возмездием за неправильные действия, кажется такой «осмысленной» и вообще «разумной». Ограничение в движении — это наказание, которого люди, преследуемые страхом оказаться в таком же состоянии, инстинктивно желают и требуют для тех, кого они опасаются и считают заслуживающими суровой и жестокой кары. Другие формы предотвращения преступлений и возмездия представляются по сравнению с этим чрезмерно снисходительными, неадекватными, неэффективными — недостаточно болезненными.

Однако тюрьма означает не только ограничение в движении, но и изгнание. В массовом сознании это только добавляет ей привлекательности в качестве наилучшего способа «подрубить корень зла». Тюремное заключение

означает длительную, а возможно, и постоянную изоляцию (при этом смертная казнь служит эталоном для измерения длительности всех остальных наказаний). Кроме того, в этом своем значении идея затрагивает весьма чувствительные струны в сознании людей. Если лозунгом дня становится «вновь сделать наши улицы безопасными», то что может лучше соответствовать выполнению этой задачи, чем перемещение носителей опасности в невидимое и недостижимое пространство — пространство, откуда им не вырваться?

В атмосфере незащищенности самым главным становится страх за собственную безопасность; он же, в свою очередь, обостряется и воплощается в неоднозначном, непредсказуемом образе незнакомца. Незнакомцы на улице, рыскающие возле дома... Сигнализация против взлома, камеры наблюдения и патрули в жилых кварталах, охрана в подъездах многоквартирных домов — все это служит одной цели: держать незнакомцев на расстоянии. Тюрьма — это наиболее радикальная из множества мер: она отличается от остальных не своей сущностью, а тем, что считается более эффективной. Люди, воспитанные в рамках культуры сигнализации от взлома и приспособлений против грабителей, естественно, склонны относиться с энтузиазмом к идее тюремного заключения и ужесточения приговоров. Все это отлично сочетается друг с другом — в хаос, царящий вокруг, привносится логика.

«Нарушители порядка»

«Сегодня мы знаем, — пишет Томас Матисен, — что пенитенциарная система бьет по «низам», а не по «верхам» общества¹²». Почему это должно быть именно так, давно

объяснили социологи, исследующие юридическую базу и практику уголовного преследования. Предметом обсуждения неоднократно становились несколько причин.

Первое место среди них занимает несколько однобокий, избирательный подход законодателей, озабоченных сохранением некоей конкретной модели порядка. Действия людей, которым в рамках этого порядка просто нет места, неудачников и угнетенных, которые скорее всего попадут в статьи уголовного кодекса. Разграбление ресурсов целых стран называется «развитием свободной торговли», лишение целых семей или сообществ средств к существованию — «сокращением» или просто «рационализацией». Ни то, ни другое никогда не фигурировало в списке преступных и наказуемых деяний.

Более того, как убеждаются на собственном опыте сотрудники любого полицейского подразделения, занимающегося «серьезными преступлениями», незаконные действия «верхов» чрезвычайно трудно отделить от хитросплетения повседневных, «обычных» сделок, совершаемых фирмами. Когда речь идет о деятельности, открыто преследующей цель личного обогащения за счет других, граница между дозволенными и недозволенными действиями по определению является размытой и спорной — несравнимой с комфортной однозначностью таких преступлений, как взлом сейфа или замка. Поэтому ничуть не удивляет вывод Матисена о том, что «тюрьмы заполнены прежде всего выходцами из низших слоев рабочего класса, совершившими кражу или другое «традиционное» преступление».

Помимо того, что они плохо поддаются точному определению, преступления «верхушки» невероятно трудно выявить. Они совершаются внутри немногочисленной группы людей, объединенных круговой порукой, лояль-

ностью по отношению к своей организации и корпоративным духом, людьми, которые, как правило, принимают эффективные меры, чтобы вычислить, принудить к молчанию или ликвидировать потенциальных «стукачей». Эти преступления связаны с финансовыми и юридическими тонкостями, практически недоступными непосвященному и не имеющему соответствующей подготовки. К тому же они «бестелесны», лишены физического содержания; они существуют в неземном, воображаемом пространстве чистой абстракции, они в буквальном смысле *невидимы* — необходимо обладать столь же богатым воображением, как и сам преступник, чтобы отыскать содержание за этой неуловимой формой. Руководствуясь интуицией и здравым смыслом, общественность может сколько угодно подозревать, что при сколачивании крупных состояний дело не обошлось без воровства, но «указать пальцем» на виновного — задача по-прежнему почти невыполнимая.

Лишь в очень редких и вопиющих случаях «корпоративные преступления» заканчиваются судом и становятся достоянием общественности. У людей, совершивших растрату или уклоняющихся от налогов, неизмеримо больше шансов на «делку» с властями без суда, чем у карманника или взломщика. Помимо всего прочего стражи порядка на местах слишком хорошо знают о верховенстве глобальных «полномочий» и потому считают успехом, если им удастся добиться хотя бы этого.

Более того, бдительность общества в отношении преступлений «верхушки» проявляется в лучшем случае в виде sporadических, бессистемных «вспышек», а в худшем — не проявляется вовсе. Лишь по-настоящему эффективное мощенничество, затрагивающее «конкретных людей», где жертв — пенсионеров или мелких вкладчиков — можно

назвать поименно (но даже при этом требуется еще и мобилизация воображения и таланта целой армии популярных журналистов) способно возбудить общественное внимание и удерживать его больше одного-двух дней. Перипетии судебных процессов над высокопоставленными мошенниками превосходят интеллектуальные возможности обычного читателя газет и к тому же полностью лишены драматизма, превращающего суд над простыми ворами и убийцами в такой увлекательный спектакль.

Однако важнее всего другое: преступления «верхушки» (как правило, экстерриториальной «верхушки»), возможно, в конечном счете, являются главной причиной или одной из причин нашей реальной незащищенности, а значит — напрямую связаны с изматывающим беспокойством, преследующим людей в позднесовременном обществе и вызывающим у них помешательство на личной безопасности — но даже при самом богатом воображении они, сами по себе, не воспринимаются как угроза этой безопасности. Любые опасности, связанные в нашем восприятии с преступностью «наверху», относятся к совершенно иной категории. Крайне трудно понять, каким образом наказание виновных в таких преступлениях позволит смягчить повседневные страдания, вызванные более конкретной угрозой, подстерегающей нас в «бандитских районах» и на «опасных» улицах нашего собственного города. А значит из «демонстрации активности» в отношении «верхушечной» преступности особого политического капитала не извлечешь. Кроме того, законодатели и стражи порядка не испытывают особого политического давления, способного заставить их напрячь ум и силы для более эффективной борьбы с такого рода преступлениями; оно не идет ни в какое сравнение с тем шумом, который поднимает общественность по по-

воду угонщиков машин, бандитов или насильников, а также представителей сил правопорядка, не проявляющих достаточного рвения с тем, чтобы те оказались в тюрьме, где им самое место.

Наконец, но не в последнюю очередь, новая глобальная элита изначально имеет огромное преимущество, сталкиваясь со стражами порядка: порядок носит местный характер, а элита и законы свободного рынка, которым она подчиняется, действуют повсеместно. Если защитники местного порядка становятся чересчур несговорчивыми и несносными, всегда существует возможность для «апелляции» к глобальным законам, чтобы изменить местные концепции порядка и местные правила игры. И, конечно, всегда существует возможность покинуть место, где становится чересчур «жарко» для комфортного существования: «глобальность» элиты означает ее мобильность, а мобильность означает способность избегать ответственности и уклоняться от нее. Существует много мест, где стражи порядка с радостью и готовностью «закроют глаза» в случае столкновения интересов.

В сочетании все эти факторы приводят к общему результату: отождествлению преступности с (неизменно местными) «деклассированными элементами» или, что в общем одно и то же, криминализации бедности. Наиболее распространенные категории преступников, «выставленных» на всеобщее обозрение, почти исключительно относятся к «низам» общества. Городские гетто и «неблагополучные районы» рассматриваются как инкубаторы преступности и преступников. А если взглянуть под другим углом, то источники преступности (которая по-настоящему волнует всех — т. е. рассматривается как угроза личной безопасности) имеют исключительно местный, локализованный характер.

В 1940 г. Дональд Клеммер изобрел термин «отюрем-ливание» для обозначения подлинных результатов изоляции, резко отличающихся от «воспитательного» и «реабилитационного» воздействия, которое приписывали тюремному заключению его теоретики и сторонники. Клеммер обнаружил, что заключенные ассимилируются в чрезвычайно своеобразную «тюремную культуру», которая — если и оказывает какое-то воздействие — делает их еще менее пригодными, чем раньше, к жизни за пределами тюремных стен и еще менее способными следовать правилам и обычаям «нормальной» жизни. Как и все культуры, тюремная культура подпитывает себя сама. Тюрьма, по мнению Клеммера, — это школа преступности.

Четырнадцать лет спустя Ллойд У. Маккорл и Ричард Р. Корн опубликовали результаты своих исследований,¹³ раскрывающих механизм превращения тюрем в подобные школы преступности. Весь судебно-полицейский процесс, кульминацией которого становится тюремное заключение, в некотором смысле представляет собой один долгий и жестко структурированный ритуал символической «отбраковки» и физического исключения из общества. Отбраковка и исключение носят намеренно унижительный характер; их цель — заставить отбракованных/исключенных смириться со своим социальным несовершенством и неполноценностью. Неудивительно, что жертвы этого процесса оказывают сопротивление. Вместо того, чтобы покорно смириться со статусом отверженных и превратить официальную «отбраковку» в самоуничижение, они предпочитают отвергать тех, кто их отвергает.

Для этого отбракованные/исключенные прибегают к единственному имеющимся в их распоряжении средствам, каждое из которых в какой-то степени связано с насилием — единственным ресурсом, усиливающим их

«способность служить помехой»: это все, что они могут противопоставить подавляющей мощи своих гонителей. Стремление «отвергать своих гонителей» быстро опускается до стереотипа изгоя, добавляя к образу преступности новые черты — например, присущую преступникам склонность к рецидиву. В конечном итоге тюрьма предстает как главное орудие воплощения этого пророчества.

Это не означает, что не существует других причин преступности или настоящих преступников, но это означает, что отторжение/исключение через посредство пенитенциарной системы является неотъемлемой частью социального воспроизводства преступлений и что ее влияние нельзя аккуратно выделить из общей статистики уровня преступности. Это означает также, что, как только тюрьма стала отождествляться с представителями низших классов или «деклассированными» элементами, ее самоутверждающее и самоподпитывающее воздействие становится особенно сильным, а преступность — особенно ярко выраженной в «низших» слоях общества.

Дональд Клеммер, Ллойд Маккоркл, а также Ричард Корн проводили исследования среди заключенных и сформулировали свои выводы с точки зрения последствий тюремного заключения. Однако можно предположить, что они искали и обнаружили не столько последствия тюремного заключения как такового, сколько куда более широкого явления — *изоляции, отбраковки и исключения*. Другими словами, тюрьмы служили лабораториями, где тенденции, повсеместно присутствующие (пусть и в сильно смягченной форме) в «нормальной» жизни, можно было наблюдать в самом концентрированном, «очищенном» виде (эту догадку подтверждает и фундаментальное исследование Дика Хебдиджа «Прячась на свету»). Если это так, то эффект «отюремливания» и рас-

пространение принципа «отвергать гонителей» со всей его способностью к самоподпитке во многом позволяет разгадать таинственную логику сегодняшней озабоченности «законностью и порядком»; он помогает объяснить и очевидный успех попыток выдать эту озабоченность за серьезные усилия в решении проблемы реального роста незащищенности.

Может быть, это также поможет нам понять, почему отстранение от глобальных свобод оборачивается укреплением «местного фактора». «Отбраковка» приводит к попыткам превратить отдельные местности в подобие концлагерей. А принцип «отвергать гонителей» приводит к стремлению превратить место своего проживания в неприступную крепость. Каждая из этих разнонаправленных тенденций усиливает воздействие другой, гарантируя, что порождением глобализации «наверху» по-прежнему будут раздробленность и отчуждение «внизу».

Примечания

¹ См.: Pierre Bourdieu. L'architecte de l'euro passe aux aveux // *Le monde diplomatique*. 1997. Septembre. P. 19.

² Nils Christie. *Civility and State* (неопубликованная рукопись).

³ Nils Christie. *Crime Control as Industry: towards Gulag, Western Style?* London: Routledge, 1993. P. 86—87. Во втором издании вопросительный знак в конце заголовка был снят.

⁴ См.: Thorsten Sellin. *Pioneering in Penology: the Amsterdam Houses of Correction in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*. University of Philadelphia Press, 1944. P. 27—29, 58—59.

⁵ Thomas Mathiesen. *Prison on Trial: A Critical Assessment*. London: Sage, 1990. P. 40.

⁶ См.: Donald Clemmer. *The Prison Community*. New York, Holt: Reinhart & Winston, 1940.

⁷ См. репортаж Сержа Марти с гонконгского заседания: Le FMI critique méthodes anti-chômage de Bonn et Paris // *Le monde*. 1997. 19 Septembre.

⁸ Mathiesen. *Prison on Trial*. P. 70.

⁹ Mathiesen. *Prison on Trial*. P. 13.

¹⁰ См.: Laurent Zucchini. Ségregation ordinaire à Washington // *Le monde*. 1997. 25 Septembre.

¹¹ См.: Nils Christie. Penal Geography (неопубликованная рукопись).

¹² См.: Mathiesen. *Prison on Trial*. P. 70—72.

¹³ См.: Lloyd W. McCorkle and Richard R. Korn. Resocialization within walls. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1954. P. 88—98.

Избранная библиография работ Зигмунта Баумана

1. Between Class and Elite: The Evolution of The British Labour Movement: A Sociological Study. Manchester: Manchester University press, copyr. 1972. 334 p.
2. Culture as Praxis. London and Boston: Routledge and Kegan Paul, 1973. 198 p.
3. Socialism: The Active Utopia. New York: Holmes and Meier, 1976. 150 p.
4. Towards a Critical Sociology: an Essay on Commonsense and Emancipation. London; Boston: Routledge and Kegan, 1976. 114 p.
5. Memories of Class: The Pre-history and After-life of Class. London: Routledge & Kegan Paul, 1982. 209 p.
6. Freedom. Milton Keynes: Open University Press, 1988. 106 p.
7. Legislators and Interpreters : on Modernity, Post-modernity and Intellectuals. Cambridge: Polity Press, 1989. 209 p.
8. Thinking Sociologically. Oxford: Blackwell, 1990. 241 p.

9. Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity, 1991. 285 p.
10. Modernity and The Holocaust. Cambridge: Polity Press, 1991. 238 p.
11. Hermeneutics and Social Science: Approaches to Understanding. Aldershot: Gregg revivals, 1992. 263 p.
12. Intimations of Postmodernity. London; New York: Routledge, 1992. 232 p.
13. Mortality, Immortality and Other Life Strategies. Cambridge: Polity Press, 1992. 215 p.
14. Postmodern Ethics. Oxford; Cambridge, Blackwell, 1993. 255 p.
15. Postmodernity and Its Discontents. Cambridge: Polity press, 1997. 221 p.
16. Work, Consumerism and The New Poor. Buckingham; Philadelphia: Open University Press, 1998. 106 p.
17. In Search of Politics. Cambridge: Polity press, 1999. 212 p.
18. Liquid Modernity. Cambridge: Polity; Oxford; Malden: Blackwell, 2000. 228 p.
19. The Individualized Society. Cambridge (U.K.): Polity; Oxford; Malden (Ma.): Blackwell, 2001. 259 p.

Издания на русском языке

1. Социологическая теория постсовременности // Социологические очерки. М., 1991. Вып. 1. С. 28–48.
2. Философские связи и влечения постмодернистской социологии // Вопросы социологии. М., 1992. Т. 1. С. 5–22.

3. Философия и постмодернистская социология // Вопросы философии. 1993. №3. С. 46–61.
4. От паломника к туристу // Социологический журнал. 1995. №4.
5. Мыслить социологически / Пер. с англ. под ред. А.Ф. Филиппова. М.: Аспект-пресс, 1996. 254 с.
6. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. ВЛ. Иноземцева; Центр исследований постиндустр. об-ва, Журн. «Свобод. мысль». М.: Логос, 2002. 390 с.
7. Национальное государство — что дальше? // Отечественные записки. 2002. № 6.

Именной указатель

А

Абрамс, Чарльз 68
Альберти, Леон Батиста 49

Б

Баландье, Жорж 116
Бачко, Бронислав 58—60
Бейтсон, Грегори 37
Бек, Ульрих 116
Бенедикт, Майкл 28, 113
Бентам, Иеремия 72, 154
Бодриар, Жан 127
Бруннелески, Филиппо 49
Бурдые, Пьер 146, 147, 149
Бушта, Войцех 143

В

Вакан, Лоик 146
Вебер, Макс 89, 117
Верилио, Поль 23
Вертгейм, Маргарет 33
Витгенштейн, Людвиг 124
Вуллакот, Мартин 83

Г

Ганс, Герберт 68
Гелнер, Эрнст 47

Гидденс, Энтони 88, 116
Гуссерль, Эдмунд 51
Гюго, Виктор 107

Д

Данлэп, Альберт Дж. 19, 20
Джекобс, Джейн 68
Джоуитт, Кеннет 85, 87
Дюкло, Дени 16
Дюркгейм, Эмиль 46, 127

З

Замза, Грегори 138
Замятин, Евгений 73

К

Кавано, Джон 103
Капучинский, Ришард 105, 106
Касториadis, Корнелиус 14, 35, 89, 95
Кейбл, Винсент 83
Кейнс, Джон Мэйнард 95
Киган, Виктор 102
Клеммер, Дональд 156, 177, 178
Клинтон, Билл 24
Корн, Ричард Р. 177, 178
Койл, Диана 128, 129

Кристи, Нилс 39, 41, 151, 152,
162

Крозье, Мишель 52, 100

Кула, Витольд 44

Кэрролл, Джон 119

Л

Лазарсфельд, Пауль 39

Ле Корбюзье, Шарль 62—65

Леви-Стросс, Клод 46

Линдблом, Чарльз 48

Лич, Эдмунд 46

Люк, Тимоти У. 29

М

Маккорл, Ллойд У. 177, 178

Маркс, Карл 57

Марти, Серж 180

Матисен, Томас 77, 156, 160,
172, 173

Маус, Марсель 46

Мелуччи, Альберто 22, 84, 160

О

О' Брайен, Ричард 44

Обри, Ф. Л. 61

Оруэлл, Джордж 75

П

Пассе, Рене 99, 109

Петрелла, Рикардо 116

Постер, Марк 76

Р

Райт, Г. Х. фон 86, 88

Рейх, Роберт 129

Робертсон, Роланд 104

С

Сааринен, Эса 114

Сеннет, Ричард 68, 70

Сибрук, Джереми 115, 136

Т

Тённис, Фердинанд 26

Титмайер, Ганс 147

Турроу, Лестер 129

Тэйлор, Марк 120

Тэтчер, Маргарет 17

Ф

Фетусси, Жан-Поль 99

Фласти, Стивен 36, 37

Фрейд, Зигмунд 165

Фрид, Марк 68

Фридмад, Джонатан 142—144

Фуко, Мишель 55, 74, 75, 77

Фукуяма, Фрэнсис 23

Х

Хабермас, Юрген 63

Харви, Дэвид 82

Хебдидж, Дик 178

Хеллер, Агнес 129, 130

Хобсбаум, Эрик 94

Ш

Шумпетер, Йозеф 26

Э

Элин, Нэн 71

Эллиот, Ларри 128

Бауман Зигмунт

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Последствия для человека и общества

Художник *Е.А. Ильин*
Редактор *Е.В. Яновская*
Младший редактор *Т.Л. Полякова*
Корректор *И.А. Горбатова*
Компьютерная верстка *Н.А. Хритошкиной*

ИД № 03510 от 15.12.2000
Подписано в печать 27.12.2003. Формат 60 x 88 ¹/₁₆.
Гарнитура «Гарамонд С». Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,75.
Изд. № 27/03-и

ООО Издательство «Весь Мир»
101831 Москва-Центр, Колпачный пер., 9а
Тел.: (095) 923-68-39, 923-85-68
Факс (095) 925-42-69
E-mail: orders@vesmirbooks.ru
[Http: // www.vesmirbooks.ru](http://www.vesmirbooks.ru)

Отпечатано в типографии ГУ ГЦМПП
135800 Москва, Б-140, Краснопрудный пер., д. 7

Зигмунт Бауман — известный британский социолог, автор свыше 20 книг по наиболее злободневным вопросам общественного развития. Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена проблемам глобализации, которая, как пишет З. Бауман, «разобщает не меньше, чем объединяет». Глобализация в равной степени и равным образом затрагивает каждого из нас. Одни превозносят глобализацию, другие видят в ней источник всех бедствий. Книга, по замыслу автора, носит дискуссионный характер и «содержит гораздо больше вопросов, чем ответов». Свою задачу человека и ученого З. Бауман видит в том, чтобы привлечь к этим вопросам возможно широкую читательскую аудиторию и задуматься о влиянии глобализации на современное состояние нашей цивилизации.

www.vesmirbooks.ru

ВЕСЬ
МИР